

Евг. Евтушенко

Утренний народ



ЕВГ. ЕВТУШЕНКО



Утренний народ

НОВАЯ
КНИГА
СТИХОВ

Москва
«Молодая гвардия»
1978

P2
E27.

Е $\frac{70402-310}{078(02)-78}$ 172-78

© Издательство «Молодая гвардия», 1978 г.

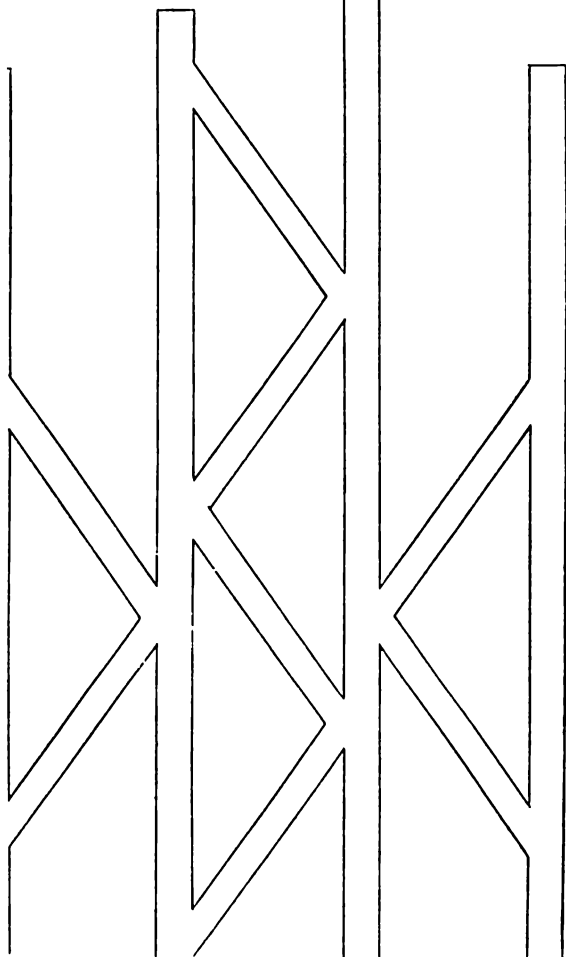
Утренний народ

Дневной народ — он деловитый, нагловатый.
Народ вечерний — добродушный сумасброд.
Ночной народ — уже помятый, пьяноватый,
но есть особенный — есть утренний народ.
Он так чай себе заваривает круто,
так любит свежий снег подошвами толочь,
как будто дня не предусматривает утро
и будет утро целый день и даже ночь.
Он в утро вывален из ранних электричек,
он вброшен в утро из троллейбусов, метро,
и он такой, как будто нет дневных привычек
вдруг огрызнуться, если локоть — под ребро.
В народе утреннем все утренне и чисто.
Он смотрит с пристальностью, чуточку чудной,
как будто что-то неожиданно случится
до проходной и даже после проходной,
как будто нету больше скучных заседаний
в тех учреждениях, где прокурено насквозь,
ни ежедневных физкультурных приседаний
под бодрый голос: «Ноги вместе! Руки врозь!»
В народе утреннем — ни жлобства, ни занудства,
ни у кого еще не выпячена грудь,
и не успел никто ни льстиво изогнуться,

ни положить под пресс-папье кого-нибудь.
В народе утреннем есть утренность осанки,
и никому представить даже и нельзя,
о чем рассказывают шепотом ушанки,
когда оттаивают, рядышком вися.
В народе утреннем есть сила молодая,
когда, ловя бегущих школьников снежки,
он рядом с будущим своим идет, глотая
припорошенные пургою пирожки.
Мы тоже в школе — нескончаемо начальной,
и наш экзамен по истории грядет,
и верить хочется бессонными ночами,
что в человечестве мы — утренний народ.

Из намазовской

тетради



Поэта вне народа нет

Когда усталую толпой
идут строители КамАЗа,
какой мне кажется пустой
плаката бодрая гримаса.
Он у столовки молодцом
висит с восторженным лицом.
Нет настоящей жизни в нем,
он весь напыщен и надуман.
Хорош плакат, когда умен,
а этот, извините, дурень.
Живет он будто в облаках.
Жизнь для него неощутима.
Хотя не бреется плакат,
нет на его щеках щетины.
Румян, как яблоко ранет,
плакат, красивый сам собою.
С плакатом жилпроблемы нет.
Его жилплощадь — на заборе.
Плакат не плачет, не поет.
Плакат не сплюнет и не свистнет.
Не выражается, не пьет,
и так задумчив, что не мыслит.
Какая правильность лица!

Какне бицепсы и шея!
Жаль — для плаката-молодца
повешенье как повышенье.
Он так фальшиво полон сил,
так тошнотворно физкультурен —
видать, бетона не месил,
не стропалил, не штукатурил.
Ему ушей мороз не жег.
Все пуговицы обрывая,
плакат не протрясал кишок
в перенадышанном трамвае.
Своих кирзовок не терял
плакат в дорожном рыжем тесте.
Своих зубов не проверял
плакат, грызя гранит ромштекса.
Плакат не чувствовал горбом,
что значат свая набивные.
Не спал в вагоне голубом,
где сны совсем не голубые.
Плакат женатым не бывал.
Плакат бездетен.

Так и этак
детсада он не выбивал,
срывая глотку в кабинетах.
Не вспоминал плакат с тоской
Арбат, украинскую хату,
не знал усталости, какой
не пожелаю и плакату.

А между тем несчастен он,
аляповатый символ счастья,
поскольку явно обделен
рабочей гордостью участия.
Закон строителей в стране,
как ни мешают пустобрехи, —

есть неучастье в трепотне,
зато участие в эпохе.
Да, этим людям трудно жить.
Их труд — не марш на фестивале,
но их не надо тормошить,
чтобы на подвиги вставали.
Есть у тебя, рабочий класс,
превыше грамот и оваций
талант — в бетон всю душу класть,
но без души не оставаться.

Вон там — полперечницы в щи
в столовке высыпал монтажник.
Следов от бед, его мотавших,
в его улыбке не ищи.
Улыбка эта так добра,
хотя отгрохал беспримерно
цех километра в полтора,
сам не имея даже метра.
Себе он хвастаться не даст
о том, как ночью на площадке
гасил горевший пенопласт,
и съел огонь ему полшапки.
Ни на кого он не сердит,
дитя нелегких пятилеток,
и даже с лихостью сидит
на голове огня объедок.
Его рабочая спина
полна величием сознанья,
что на спине лежит страна
с ракетодромами, стогами.
По всей спине, по ширине —
шоссе, заводы, церкви, цирки,
а телебашен на спине,
как будто банок медицинских!
Спины рабочей нет сильней:

на ней театры, танцы-шманцы,
и ходят вежливо по ней
по старым шрамам иностранцы.
Все, кто убиты на войне,
все, кто до боли мало жили,
в той похоронены спине —
она стены кремлевской шире.

На спину столько легло!
Но встал, прикончив щи, монтажник,
расправив плечи так легко,
как будто груз на них не тяжек.
Забыл о том, что на спине.
Его движения неловки.
Он видит нечто в глубине
стучащей мисками столовки.
Там, взяв пластмассовый поднос,
виденье в образе девчонки,
а на щеках еще мороз,
а на руках еще «верхонки».
Ее ничуть в глазах парней
не портит шалый проблеск «фикса»,
и на спецовочке у ней
ее пенатов имя — «Выкса».
Она в заморском парике
из натурального нейлона,
и кисть малярная в руке
на случай самообороны.
И ей беда невелика
из-за такого непорядка,
что прорвалась ржаная прядка
из-под брюнета-парика.
И парень, как скользя по льду,
ей опускает потихоньку
конфету «Мишка» на ходу
в чуть приоткрытую «верхонку».

И, парню в лоб не закатав,
тот дар девчонка принимает
и все, что надо, понимает,
глазами что-то загадав.
И парень лезет вновь наверх
во вспышках сварочных трескучих,
к судьбе своей страны навек
монтажным поясом прикручен.
Такие, в нашу старину,
дрожа, промокшие до нитки,
в грязи монтируя страну,
срывались с балок на Магнитке.
И, подтянув свои ремни,
не за начальничье спасибо
узлы истории они
вязали рельсами Турксиба.
И на войне, на их войне,
угрюмо веря правосудью,
все то, что было на спине,
они в бою прикрыли грудью.

Как в тайном смысле всех искусств,
когда их жизнь сама вскормила,
есть в стройках горько-сладкий вкус
надежд на измененье мира.
И в стройках есть прощанья боль,
вдруг пошатнувшись обалдело,
увидеть вдруг перед собой —
увы! — законченное дело.
Но, потихонечку скорбя,
перед своим созданием робок,
строитель чувствует себя
хотя б на миг — но всем народом.
Строитель... В этом слове Петр
с окном, прорубленным в Европу.
Но сладок пот, рабочий пот

лишь человеку — не холопу.
Петр протянул нам пятерню.
И ты, КамАЗ, как первый ботик,
свежо прекрасен — потому,
что гений буйствует в работе.
Как позолоченных цепей,
чураясь лести песнопений
о гениальности своей,
народ — он сам народный гений!
И ныне видеть нам дано
по праву дела, а не трепа,
что возмечтала и Европа
в Россию прорубить окно.

Когда усталою толпой
идут строители КамАЗа,
из их транзисторов гурьбой
выпархивают звезды джаза.
Идут строители, шутя,
в свои вагончики, общаги,
и у эпохи и дождя
не просят скидки и пощады.
Идут в спецовках, кожушках,
а в целлофановых мешках
(по моде местного разлива)
несут елабужское пиво,
трепещущее в их руках.

А из Елабуги глядят
глаза Цветасевой Марины,
глядят, как будто на солдат
на той войне неповторимой.
Глаза, по-доброму строги,
с печалью, сдержанно-высокой,
прощают, что ее стихи
едва ли знает каждый сотый.

Но все же есть среди могил,
слюдою льда мерцающая робко,
в снегу, которой боль прикрывает,
и к ней протоптанная тропка.

Помнишь, гераневая Елабуга,
ту городскую, что вечность назад,
долго курила, курила, как плакала,
твой разъедающий самосад?
Бога просила молитвенно, ранено,
чтобы ей дали белье постирать.
Вы мне позвольте, Марина Ивановна,
там, где вы жили, чуть-чуть постоять.

Бабка открыла калитку зыбучую:
«Пытка под старость — незнамо за что.
Ходят и ходят — ну прямо замучили.
Дом бы продать, да не купит никто».

Сирые стены. Слепые. Те самые,
где оказалась пенька хороша,
где напослед холодающею Камою
губы смочить привелось из ковша.

Ну а старуха, что выжила впроголодь,
мне говорит, будто важный я гость:
«Как мне с гвоздем-то? Все смотрят и трогают...
Может, возьмете себе этот гвоздь?»

Из-под земли идут слова
к иной, а все-таки России:
«Вас не виню, что я мертва.
Как хорошо, что вы — живые».
Марина, женщина и мать,
с мужской ухваткой правдолюба,

как не боялись целовать
тебя в пророческие губы.
Не от сохи, не от станка,
была ты вовсе не арабской —
рабочей лошадью стиха,
но без малейшей тени рабской.
И если на дороге куст
встает, особенно рябина, —
и я вовек не отрекусь
ото всего, что мной любимо.
Я не могу со стороны
смотреть на Родину недобро —
нет у меня другой страны,
другого русского народа.
Один заезжий циник здесь
так процедил насчет КамАЗа:
«Как мясо пушечное есть,
есть и строительное мясо».
Какой позор — такой цинизм.
Пусть сам ногами грязь попашет
тот, кто не может оценить
спины, на коей пьет и пляшет.

Когда усталою толпой
идут рабочие КамАЗа,
как термин рабскости слепой,
я отвергаю слово «масса».
Народный университет —
КамАЗ, где жизнь бурлит, грохочет.
Но что такое «масса»?

Нет
двух одинаковых рабочих.
Есть и рабочий-карьерист,
рабочий-хам, рабочий-лодырь,
но эти гады пробрались
бочком в рабочую породу.

Когда иной передовик
стал вроде куклы для собраний,
в себе он сам передал
надежды молодости ранней.
В народе тот не состоит,
кто пошлой мыслью пропитался
о роли правящей элит —
научной или пролетарской.
Нам никакой не нужен трон,
где восседали бы коварно
надменный синхротрон
или, задравши нос, кувалда.
Не лезет пусть в социализм
тот, кто до выкриков охочий:
«А ну, очкарик, сторонись!
Ты кто таковский? Я — рабочий!»
Псевдорабочий говорок
противен так же, как отвратный
научной шляхты гонорок:
«Мы — мозг страны. Мы — технократы».
Страны великой нашей мозг
не только ССП и МОСХ —
он и под шляпой инженерской,
и под рабочим кепорком,
он и под ситцевым платком
крестьянки — тульской или пермской.
Как высоко ни восседай,
величья заду трон не дарит.
Народ — великий государь,
когда все вместе государят.

Тот не народ, в ком есть корысть.
Но мало быть трудягой скромным.
Жизнь превратится просто в жисть
и прозябаньем станет темным.
Не жизнь — ишачить допоздна

с электросваркой и лебедкой.
А после что? Забить «козла»
костьми, пропахшими селедкой?
Дух поменять на домино —
какая лживая невинность:
ведь трудолюбие одно
без правдолюбья — муравьиность.
Лжеправдолюбцам грош цена.
От их сутяжничества тошно,
ведь правдолюбье крикуна
без трудолюбия — ничтожно.
Когда я говорю «народ»,
я обращаюсь только к людям,
в ком трудолюбье с правдолюбьем
срослись — ничто не разорвет.
Народ — моя семья, родня,
но я в родне весьма разборчив.
Народ не идол для меня.
Я сам народ. Я сам рабочий.

Поэта вне народа нет,
как сына нет без отчей тени,
но стоит одеревенеть,
и упадешь до отчужденья.

Есть отчужденье подпевал.
В чем связь с народом подпевалы?
Да только в том, что он, бывало,
с народом вместе выпивал.
Он прославляет сталь и медь,
рифмуя бодро против правил.
Вся цель его — успеть подпеть.
Вдруг упрекнул — недопрославил.
С народом вроде бы кумясь,
но с ним на равных не бедуя,
творит намаз тебе, КамАЗ,

муллой опасного бездумья.
Как пролетарственно ни пой,
в поэте что-то от буржуя,
когда намека нет на боль —
ни на свою, ни на чужую.
Чтобы прервать весь этот срам,
спроси такого без побряки:
почем, товарищ, килограмм
ржаного — попросту черняшки?
А он, как сам себе завод,
вдруг запыхтит — и пререкаться,
и может, даже назовет
вопрос подобный провокацией.
Народом вскормленный делок
литературных коридоров,
он от народа так далек,
как разливной томатный сок
от настоящих помидоров.
Воспев олимпиадный брус
и тех, кто в космосе не дрогнул,
он сам на деле просто трус —
а тот, кто трус, — тот вне народа.

Есть отчужденье отпевал.
В чем связь с народом отпевалы?
Его пугают самосвалы —
он по лаптям затосковал.
С какой тоской боярский быт
он отпевает, словно дьякон.
Малюта, видно, им забыт,
а может быть, тайком оплакан.
С новобоярством на лице,
двуличья полон делового,
он партбилет хранит в ларце
времен Бориса Годунова.
Певец кокошников, берез,

он полон спеси барско-рабской.
Он вам не то что до Октябрьской —
и до Февральской не дорос.
Он отпевает Русь икон,
по деревенькам их воруя.
На стенах — бывших рысаков
полуисплесневшая сбруя.
В сиянье царских пятаков,
что ни вещичка здесь — то редкость,
лишь нет на стенах батогов,
какими били наших предков.
Какой такой Руси посол
певец, который сыто, чинно
посмел оправдывать позор,
чье воплощенье — Салтычиха?
Он — из поддельных русаков.
Когда жалеть он не умеет
забитых насмерть мужиков,
живых он, что ли, пожалеет?
Он, принародившись, поет,
но в «алярюсе» нет исхода.
Кто вне своей эпохи — тот
и, принародясь, вне народа.

Есть отчужденье глухарей,
самозаслушавшихся томно.
Для них страшной любых зверей
слова «портянка» или «домна».
Поэт-глухарь всегда урод,
когда, презрев народ за сивость,
превыше слез твоих, народ,
он ставит рифмочки красоту.
Поэт-глухарь, кого он спас?
Он, как особенная птица,
боится слишком низко пасть,
чтобы до «пользы» опуститься.

Страх снизойти с вершин до масс
его, как червь элитный, точит.
Не для его пера — КамАЗ.
Он искамазаться не хочет.
Тебя до строчки, Пастернак,
сгребает он, как экскаватор,
и ложной избранности знак
несет на лбишке узковатом.
Но не понять вовеки вам,
жрецы изящности и жрички,
слез, вдруг прихлынувших к глазам
у Пастернака в электричке.

Зовут бессмертных образцы:
забудь красивые уюты!
Кто отвернется от минуты,
не сможет вечность обрести.
Псевдобессмертен смысл побега
с эстетской лирой под плащом.
Поэт — народная победа,
когда народ в нем воплощен.

Люблю надежный русский стих.
Сейчас в нем время недорода,
но тот, кто Пушкина постиг,
тот навсегда не вне народа,
Нам завещал патриотизм
крестьянской доли, а не кваса,
пытаясь сам душой спастись
в спасенье пахаря — Некрасов.
Есенин строчкой не соврал,
и, людям став до боли нужной,
тальянка выросла в хорал,
такой черемухово-вьюжный.
Жизнь в революцию вложив,
громил поделки мелкой сошки,

мерзавцев наших и чужих,
как бронепоезд, Маяковский.
И было время — шли в штыки
и ворвались в Берлин на танках
родные русские стихи
со звездочками на ушанках.
В меня входили с молоком
страдальной матери-Отчизны
Светлов, Твардовский, Смеляков
над мельтешней литсволочизма...
Стихи — такое поле битв!
Пусть все, в ком чувства не хватает
своих поэтов полюбить,
себя народом не считают.
Большой читатель сам поэт,
мысль отличая от поветрий.
Поэта вне народа нет,
но нет народа вне поэтов.
Любой, кто умственно заплыл,
один «Футбол — Хоккей» читая,
в какой стране живет — забыл.
Лишь ясно — близко от Китая.
Что в мире трогает его,
когда он, анекдотя плоско,
не мыслящее существо,
а к телевизору присоска?
Народ — кто сам себе не врет.
Народ — кто враг духовной лени.
Лишь тот, кто мыслит — тот народ.
Все остальные — население.
Как мыслящих соединить?
Как протянуть сквозь все бездумье
от рыбака на Лене нить
до академика из Дубны?
Какая сила у строки,
когда на самых чистых нотах

в ней — осмысление страны
в ее трагедиях и взлетах!

...В смешенье снега и дождя
однажды вечером над Камой
я на роддом набрел, идя
дорожкой лунной, домотканой.
Меня заметила в окне
татарка-няня, улыбнулась,
и в глубь палаты оглянулась
и пальцем погрозила мне.
Решив, однако, нежестоко,
что я — из страждущих папаш,
вдруг подняла пищавший кокон,
глазами спрашивая: «Ваш?»
И, улыбнувшись ей ответно,
«Нет», — покачал я головой,
хотя неправдой было это,
ведь он был мой — он был живой.
И вновь, пища поочередно,
с наоборотностью в зрачках,
второй, и третий, и четвертый
явились мне в ее руках.
В наоборотный мир попавши,
орали юные миры,
и, как подвыпивший папаша,
«Мои! — кричал я. — Все мои!»

Поэт — всегда большой ребенок.
Поэт всегда большой отец
новорожденных, убиенных,
а не отец — тогда мертвец.
И если нету в нас того
большого умного отцовства,
уж лучше, чтоб рука отсохла
и не писала ничего.

Но, оглушительно вопя,
слепа сиянием глазенок,
ждет осмысления себя
новорожденный камазенок.
Он восхитительно орет,
он что-то хочет всем поведать...
Чтобы понять себя, — народ
и создает своих поэтов.

С крыши КамАЗа

Зачислить товарища Сальвадора Альенде почетным членом бригады плотников-бетонщиков 3-го участка с начислением ему заработной платы в фонд мира.

Приказ по СМУ № 76. Март 1974

Собравшие крышу КамАЗа

вы крепко наобнимались
семьдесят национальностей,
и крепко нацеловались там.

С торчащей из ватника «чачей»,
стуча сапогами резиновыми,
на крыше грузин вылезгинивал

с прицокиваниями невыразимыми.

И парень в треухе заячьем
упал, отплясав «Цыганочку»,
пытаясь обнять играючи

крышу, как великаночку.
А вас одарила свободой,
кусками пространство расшвыривая,
вами самими сработанная

новая крыша мира.

А вы планету увидели,
выпятившуюся выпукло,

как будто ее только-только
рассветное солнце выпекло?

Увидели, как Фудзияма дымит,
увидели, как Гудзон течет

в громадном,
вами отгроханном,
грохочущем горизонтище?

А вы захлебнулись далью,
а в сердце у вас защемило

на крыше-ковре-самолете —
от равнодушия к миру?

Сказал мне худой,
остролицый
электромонтажник о жизни:
«Для некоторых за граница —
транзисторы,
жвачка,
блюджинсы.

Наденет какой-нибудь Севка
часы по фамилии «Сейко»,
прическу себе переменит
и думает, что современен.
Он шутки игривые сыпет,
и девок умеет он лапать,
а сам-то под гривую хиппи,
простите, но все-таки лапоть.
Скрывая, что родом из Шуи,
он газовым «Ронсоном» щелкнет,
но в разных веках существуют
такой «пролетарий»
и Фолкнер.

(Я книжник.

Здесь трудно быть книжником,
как будто в Сахаре быть лыжником,
но мы кое-что добываем —
не только «козла» забиваем.)
В общагах гитарами тенькая,
нельзя забывать, что мы дети
всемирной культуры и техники
и мы не одни на планете.
КамАЗ —

это детище мира.
Три ночи зубами я клацал
и бился,
обросший щетинной,

над схемою фирмы «Камацу».
Красивая красная папка,
к рукам прикасаясь шершаво,
японскими вишнями пахла
и по-человечьи дышала.
И вдруг я все понял и вздрогнул,
подумав о чистом и вечном,
и стал мне любой нероглиф
живым и родным человечком.
Под вежливой черною тушью,
под линиями и значками
увидел я неравнодушьё
к далеким рабочим на Каме.
Японец тот был озабочен,
чтоб техника дух не коверкала,
чтоб мыслил свободно рабочий,
а не был придатком конвейера.
Гут дело не в низкопоклонстве,
когда, возвращаясь сквозь слякоть,
я думал об этом японце
и так с ним хотел покалякать.
Когда им удастся сродниться,
идеи сильнее пространства,
и есть ли вообще «заграница»?
И есть ли вообще иностранцы?
Есть все-таки тайные токи
во всем человечестве, если
ко мне прилетели из Токио
мон воплощенные мысли.
И над равнодушьем всемирным,
столбы пограничные руша,
есть все-таки тайная фирма
всемирного равнодушьья... —
И вынул монтажник лукаво,
как будто бы что-то затаивая,
двухтомник Акутагавы:

— Вникаю.

Сменял за Катаева. —
Потом он согнал улыбку:

— Не пью.

Вот читаю — запойно... —

И вновь закурил свою «Шипку»,
с которой ему беспокойно:

— Но часто я вижу с тоскою,
что, нас растлевая бездушно,
есть равнодушие такое,
которое лишь показушно.

У нас на КамАЗе есть Эдик.

Громит,

шевелюру взъерошив,
агрессоров тех или этих,
и прочих людей нехороших.

Он бледен,

как будто изгрызен,
истерзан, бедняга, вконец
расизмом,

абстракционизмом,
а сам он —

абстрактный борец.

Грызет его Санто-Доминго

и в Чили переворот,

а собственная подлинка

чего-то его не грызет.

Он так возмущен Гватемалой

и лондонским грабежом,

бесстрашный борец этот малый —
но только за рубежом.

Наверно, таким он родился,

как международный пророк.

Когда наш товарищ разбился,
он деньги зажал на венок.

Сплошные приписки в нарядах,

жену свою бедную бьет.
Забота о стольких народах
быть добрым ему не дает... —
Сжал зубы монтажник со скрипом.
Пошли желваки ходуном:
— Нельзя доверять этим типам
заботу о шаре земном!
Товарищи шутят: «Ты, парень, —
безмаузерный комиссар.
Ты шаром земным был ударен...»
Согласен.

Тяжеленький шар.
Но это совсем не в легенде:
мерцающая седой головой,
бетонщик товарищ Альенде
идет по КамАЗу как свой.
Мы с ним говорим без подсказки,
и странного нет ничего,
что стала рабочей каской
солдатская каска его.
Он в ней во дворце Ла Монеда
сражался в последний свой час.
Таким

его помнит планета.
Таким его принял КамАЗ.
Хочу, чтобы мы научили
себя, как и должно борцам,
и равнодушию к Чили,
и к собственным подлецам.
Я верю, как в наше оружие,
которым народы сильны,
в атлантово равнодушье
рабочего класса страны...»

Он встал над землею державы,
увидев Урал и Байкал,

и книжкой Акутагавы
Японии помахал...

На крыше КамАЗа,
огромной, как будто ладонь Гулливерова,
рабочий с кефиром и хлебом,
а что в голове его,
подставленной ветру,
сырому и пасмурному,
бродяге всепаспортному,
когда колбасу разрезает рабочий
ножом на газете,
а хлебные крошки,
что сорваны ветром,
хватают индийские дети?

О, ветер-бродяга,
твои бы рассказы хотела послушать любая бригада.
Ты знаешь весь мир и без помощи журналистики,
хотя не заполнил ни разу на выезд анкетные листики
и не получал ни в каком учреждении характеристики,
что выгладит в наших глазах
как подобие мистики...

О, ветер,
не скрою —
порою
у нас равнодушие к миру в душе возникает
от скучных газетных статей
о прекрасном и страшном на свете.
Пробей нас рассказами, ветер,
как будто бы сквозняками,
дай верить хотя бы тебе,
как живой трепыхающейся газете!
О, ветер, посол незапятнанной синей державы,
рукою шершавой
касался ты женщин вьетнамских,
чьи руки крестьянскими иглами

осколки игольчатых бомб
из кричащих детей выкорябывали.
Москитов сдувал с гьерильерос,
идуших болотами гиблыми
тропой Че Гевары
в Боливии и в Никарагуа.
О, ветер,
в полете себя распластавший,
уставший
в боях развеять все знамена пробитые,
о чем ты подумал,
песок вместе с пеплом крутя над землею израненной,
где вдруг обнялись на холме,
но, к несчастью, друг другом убитые,
арабский феллах
и крестьянин израильский?
Подумал о том,
что в их спорах
мозоли рабочие
могли бы им лучшими стать переводчиками?
О, ветер,
в истерзанном Чили дождинки роняя на трупы,
подснежник с КамАЗа добросил бы ты на могилу
Неруды.
По крыше КамАЗа летят мотороллерные камазонки.
Пусть прыгнут над Камой они
сквозь шипенье ревнивой поземки
туда, где их ждут угнетенные мира,
хрипя от удушья,
как ангелов равнодушья.
На крыше КамАЗа лишь стоит привстать и
прищуриться,
и можно увидеть
Нью-Йорка почти затемненные улицы
с машинами,
ждушими чуть ли не сутки у бензоколонок.

и мрачные лица шоферов,

уже закаленных.

Автобусы в центре Бродвея стоят по-слоновьяму кротко
с рекламою новой на спинах:

«Столичная водка».

И потенциальные самосожженцы бессильны:

ни капли бензина,

И можно услышать,

лишь к самому краешку крыши приблизиться,
от бензозаправщика-негра,

осувшего жвачку,

такую задачку:

«Не кризис энергии —

энергия кризиса».

Когда разбивает рука верхолаза

о краешек крыши крутое яйцо,

не ветер в лицо

на крыше КамАЗа —

время в лицо!

На крыше КамАЗа все видно:

и то, как песочат в Китае

беднягу Конфуция,

и то, что на лондонской бирже сплошная конвульсия.

Корову крестьяне французские

втаскивают в префектуру.

Корова и та протестует —

не хочет быть принятой всеми за дуру.

Почтеннейший Сартр, как пророк, маоистствует,

хрупая

лангустой а-ля термидор...

Сочетание грустное,

глупое.

В бюстгальтерах скрыт геронн.

Бриллиантами блещет собачий ошейник.

Хрипит президент журналистам:

«Поверьте мне, я не мошенник».

Поют крокодилы нильские
и в Африке гиппопотам:

«Киссинджер здесь,
Киссинджер там».

Скандал за скандалом,
вокруг свистопляска и ханжество.

Взрываются письма,
угон самолетов,
хищение шедевров,
послов и принцесс,

и тридцать четыре студента,
в один телефон-автомат напихавшиеся, —
какой это странный процесс!

Это, что ли, прогресс?

О, ветер,
скажи нам —

что вертит
наш крошечный шарик земной
посреди мироздания?

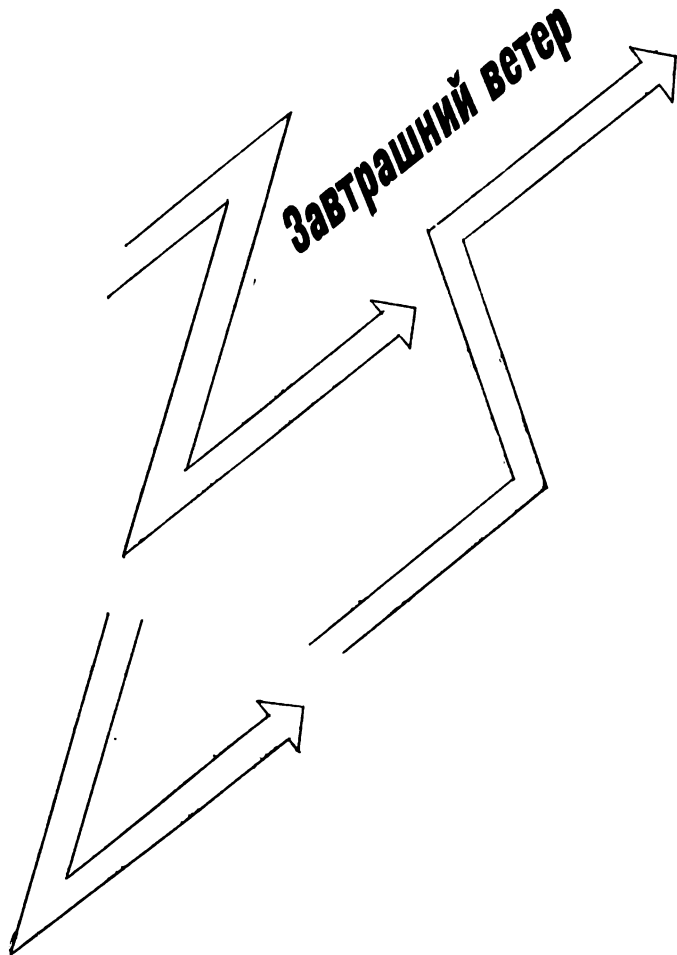
Борьба и страдания.

Не могут быть судьбы людские
отдельными,
личными.

Не могут
борьба и страдания
быть «заграничными».

Мир будет спасен красотой.
Достоевский пророчил нам это.

А равнодушие
и есть красота человека.



К чему, зануда-лектор,
жесты робота
и по бумажке продолженная речь?
Все это можно ли понять
как чувство Родины?
Так можно всех
от всяких чувств предостеречь.
Что значит эта речь
в глазах больничной нянечки,
когда, идя с дежурств, —
как маленьким друзьям,
не забывает
выносить,
в казенной наволочке
больницей пахнущие крошки —
воробьям?
Что значит эта речь
в глазах слипающихся слесаря,
когда, не в силах
и кроссворда зачеркнуть,
он засыпает,
и рука с кровати свесилась,

как будто хочет
пол дощатый зачерпнуть.
Пусть равнодушно
равнодушие бичуется
борцами только против маленького зла.
Но говорить
о чувстве Родины бесчувственно —
нам права Родина
такого не дала.

У нас такие за спиной встают пожарища,
такие страшные могилы за спиной,
что стыдно Родину свою любить шпаргалочно,
как будто Родина нам стала неродной.

Нет чувства Родины без чувства человечности.
От бессердечности ничто не родилось.
Любите Родину, как чудо бесконечности,
как ветер вечности, коснувшийся волос.

Любите Родину, как вашу нареченную,
чтобы за вас ей не почувствовать стыда.
Любите Родину, но только нерасчетливо.
Любите Родину, и только навсегда.

Если мы растоптали любовь
и горюем с руками пустыми —
растоптали святыню.
Лжесвятынями серость бывает расчетливо скрашена.
Лжесвятыни постыдны,
но жить без святынь — это страшно.
И звонят колокольно,
как будто невидимые Хатыни,
все поруганные святыни.
И когда я порой
так хочу разрыдаться
или сразу со всеми
вконец разругаться,
я шепчу сам себе
всей своей немотою:
«В человеке должно быть хоть что-то святое...»

Срывай цветы, но по-хорошему,
не выдернув ни корешка,
чтоб ничего не покорежила
на Родине твоя рука.
Жестокость вырви по-жестокому,
чтобы корней не припасла,
чтоб ни внутри тебя, ни около
на Родине не проросла.
Бесстыдней самой низкой низости, —
сумев других перешагнуть,
слезливо к Родине подлизываться,
под ордена подставив грудь.
А ты бесстыдством не пропитывайся
и знай, где нравственная грань.
Своим народом не прокидывайся,
им не прикидывайся — стань.
Ну а когда ты станешь Родиной,
себя во всех других найдешь
на сотнях кладбищ похороненным,
по сотням улиц ты пройдешь.
Не обижая свою плоть ничуть,
ты станешь множеством людей,
а это здорово, как плотничать,
во рту зажав букет гвоздей!
Ты станешь сразу всеми станциями
и полустанками страны,
и перед собственными статуями
ты и не вздрогнешь — хоть бы хны...
Но если вырвешь корни собственные,
ты — вновь один. Ты — не народ.
Перестающий жить по совести
быть Родиной перестает.

* * *

Я был тылом — сопливым, промерзлым,
выбивавшим всю азбуку Морзе
расшатавшимся зубом о зуб.
Мои бабки — Ядвига, Мария, —
меня голодом вы не морили,
но от пепла был горек ваш суп.
Сталинградский, смоленский, можайский,
этот пепел, в Сибири снижаясь,
реял траурно, как воронье,
и глаза у детдомовки Инки
были будто бы две пепелинки
от сгоревшего дома ее.
На родимой ее Беларуси
стали черными белые гуси,
рев стоял только черных коров.
Стали пеплом заводы, плотины,
и все бодрые кинокартины
и надежды на малую кровь.
Сняли с башен кремлевских рублины.
В Ленинграде рояли рубили.
Слон разбомбленный умирал.
Пепел корчащихся документов
с крыш Москвы, с парусиновых тентов
улетал далеко за Урал.
Я свидетельствую о пепле,
от которого трусы ослепли:
им воздали еще не вполне.
Заклинаю всем ужасом детства:
«Нет страшней среди всех лжесвидетельств
лжесвидетельства о войне!»
Пепел, розовый в книгах, позорен.
Пепел был и останется черен.
Но свидетельствую о том,

что осталось неиспепсленным:
о народе в железных пеленках
и о сердце его золотом.
Я свидетельствую о братстве —
о святом всенародном солдатстве
от амурской до волжской воды,
о горчайшей редчайшей свободе —
умирать или жить — не в стыдобе,
а в сознание своей правоты.
Я свидетельствую о пепле,
том, в котором все вместе окрепли
и поднялись в решающий час.
Я свидетельствую о боли.
Я свидетельствую о боге,
проступившем не в небе, а в нас.
До сих пор я дышу этим пеплом,
этим всеочищающим пеплом,
и хотя те года далеки,
вижу в булочных я спозаранок,
как вмурованы в корки буханок
сталинградские угольки.
Эх, война, моя мачеха-мать,
ты учила умнее грамматик,
научила всему, что могла,
и сама кой-чему научилась.
Проклинаю за то, что случилась,
и спасибо за то, что была.

Нехватки

Двужильность в народе. Двужильность во мне.
Шатает, но сила не тает.
На горе и счастье я рос на войне
в стране, где всего не хватает.

Бессмысленно очередь жалась чуть свет
к пустой продуктовой палатке.
Вздыхая, почесывал бороду дед:
«Где схватки с врагом, там нехватки...»

Биштов не хватало тогда на войне,
сапог, самолетов, тротила,
но все же материи красной вполне
на флаг над Берлином хватило.

Теперь побогаче пошли времена —
в России никто не голодный,
но очередь каждая душит меня,
изводит змеей подкольной.

Теперь подавай апельсинов, джерси —
все чертова прорва глотает,
и стонут хозяйственники на Руси:
«Проклятье! Всего не хватает!»

За нашей спиною пространств немота.
У нас перед лицами — выюга.
Но нету нехватки у нас никогда
в последней рубаше для друга.

Взаймы мы не просим ни совесть, ни честь —
душой обойдемся своею,
и гордость у нас неизбывная есть —
что очередь есть к Мавзолею.

Такая страна. Мне не надо другой.
Я болью ее не торгую.
Была б она сытой и жадной каргой,
ее не любил бы такую.

В ней лиха с лихвой. Принимаю лихву.
В пей так широко рассветает.
И слов не хватает сказать, как люблю
страну, где всего не хватает.

Ехал-ехал я в Иваново
и не мог всю ночь уснуть,
вроде гостя полузванного
и незваного чуть-чуть.

Ехал я в нескором поезде,
где зажали, как в тиски,
апельсины микропористые —
фрукты матушки-Москвы.

Вместе с храпами и хрипами
проплывали сквозь леса
порошок стиральный импортный,
и кримплен, и колбаса.

Люди спали как убитые
в синих отсветах луны,
и с таким трудом добытые
их укачивали сны.

А какие сны их нянчили
вдоль поющих проводов,
знают разве только наволочки
наших русских поездов.

И бесценные по ценности,
как вагоны тишины,
были к поезду подцеплены
сразу всей России сны.

Нас в купе дремало четверо.
Как нам дальше было жить?
Что нам было предназначено —
кто бы мог предположить...

Шел наш поезд сквозь накрапыванье,
ночь лучами прожигал,
и к своей груди, похрапывая,
каждый что-то прижимал.

Прижимала к сердцу бабушка
сверток ценный, где была
с растворимым кофе баночка.
Чутко бабушка спала.

Прижимал командированный,
истерзав свою постель,
важный мусор, замурованный
в замордованный портфель.

И камвольщица грудастая,
носом тоненько свистя,
прижимала государственно
свое личное дитя.

И такую всю родимую,
хоть ей в поги упади,
я Россию серединную
прижимал к своей груди.

С революциями, войнами,
с пеплом сел и городов,
с нескончаемыми воями
русских выюг и русских вдов.

Самого себя я спрашивал
под гудки и провода:
«Мы узнали столько страшного —
может, хватит навсегда?»

И еще мной было спрошено:
«Мы за столько горьких лет

заслужили жизнь хорошую?
Заслужили или нет?»

И всем русским нашим опытом
перекошен, изнурен,
наборматывал, нашептывал,
наскрипывал вагон:

«То, что чудится, то сбудется
за первым же мостом.
То, что сбудется, — забудется
под березовым крестом.

Не расстанется — останется
все, что выдышала грудь.
Что исполнится, то вспомнится
кем-нибудь когда-нибудь».

* * *

Когда-то мы спали валетом
с одним настоящим поэтом.

Он был непечатным и рыжим.
Не ездил и я по парижам.

В груди его что-то теснилось —
война ему, видимо, снилась.

И взрывы вторгались в потемки
снимаемой им комнатенки.

Он был, как в поэзии, слева,
храпя без гражданского гнева.

И справа — казалось — ключицей
меня задевает Кульчицкий.

И спали вповалку у окон
в обнимку Майоров и Коган.

В поэзии, словно в землянке,
немыслимы ссоры за ранги.

В поэзии, словно в траншее,
без локтя впритирку — страшнее.

С тех пор мне навеки известно:
поэтам не может быть тесно.

Над могилой Рубцова

Над могилою Коли Рубцова
серый дождичек обложной,
и блестят изразцы леденцово
сквозь несладость погоды блажной.

Но так больно сверкают их краски,
будто смерть сыпанула в ответ
жизни-скряге за все недосластки
горсть своих запоздалых конфет.

Милый Коля, по прозвищу Шарфик,
никаких не терпевший удил,
наш земной извертевшийся шарик
недостаточно ты исходил.

Недоспорил, ночной обличитель,
безобидно вздымая кулак,
с комендантами общежитий,
с участковыми на углах.

Недопил ни кадуйского зелья,
ни останкинского пивка.
Серый дождичек, выдай под землю
ну хотя бы твои полглотка!

Есть в российских поэтах бродяжье,
как исправиться их ни проси,
а навеки хозяин приляжет —
бродят строчки его по Руси.

Над могилою Коли Рубцова
серый дождичек обложной.
В неделимости русского слова
нет поэзии «областной».

Приходя из Рязани, из Тотьмы,
из Хабаровска, Тулы, Зимы,
если чувствуем почву, как плоть мы,
обнимаем вселенную мы.

Есть поэт всероссийский, вселенский,
а не тотьминский и не псковской:
нет поэзии деревенской,
нет поэзии городской.

Над могилою Коли Рубцова
серый дождичек обложной.
Только тучи висят не свинцово,
а просвечены все до одной.

Золотистая просветь на сером —
это русских поэтов судьба.
Потому нам и светит Есенин
ясной плотницкой стружкой со лба.

Я, наверно, на свете зажился,
слишком часто в пустое встречал,
слишком часто я сытым ложился,
слишком редко голодным вставал.

Но за всю мою лишнюю славу,
но за всю мою лишнюю жизнь
послужу еще русскому слову,
чтобы слово и дело сошлись.

В нашей жизни, на беды небедной,
есть спасенье одно от беды:
за несчастьями слишком не бегай,
а от лишнего счастья — беги.

Перед смертью, как перед обрывом,
завещает светящийся стих:
можно быть самому несчастливым,
но счастливыми делать других.

В строке, отливающей сталью,
холодная скрыта игра.
Я выше поэзии ставлю
сражение зла и добра.

Поэзия — как неживая,
когда равнодушным пером
добро она злом называет,
а зло называет добром.

Бесчувствие — это увечье.
Строке доверяю, когда
лицо у нее человежье:
из радости, гнева, стыда.

В строке хороша недомолвка,
но не трусоватый намек,
а кровью строка не намочла —
престиж у поэта подмок.

Я видел эпох столкновенья,
руками разламывал зло,
и это — мое становленье,
а прочее все — ремесло.

Какая забота мне, право,
что чей-нибудь слух услажден.
Добро победит — я оправдан,
а зло победит — осужден.

Но есть и такое мошенство
при литературном дворе,

похожее на двоеженство:
жениться на зле и добре.

Не вырастет гений из хлюста.
Еще никогда не была
победа большого искусства
хоть малой победою зла.

* * *

Идеи правые, родные,
зачем пускаться вам в обман,
зачем вам косы приплетные
и столько пудры и румян?

В словах мерзавца-пустобреха,
что украшает грязь траншей,
приукрашается эпоха
и этим кажется страшней.

Как надоели крем и краска,
наложенные подлицом,
и прирастающая маска
навек становится лицом...

Усмешка

Есть сладострастие тупиц
всех унижать, кто не тупицы,
но от себя не отступись
и усмехнись — пусть им не спится.

Когда в любые времена
идет игра — орел и решка,
то наверху — та сторона,
где отчеканена усмешка.

Страшней, чем даже мятежи,
страшней ответного удара
сознание собственной нелжи,
сознание собственного дара.

И содрогнется душегуб,
свое почувствовав уродство,
когда в углах разбитых губ
простое чувство превосходства.

Так раб униженный жрецу
вдруг усмехнулся не по-рабы,
и это привело к концу,
ну, скажем, царства Хаммурапи...

* * *

Достойно, главное, достойно
любые встретить времена,
когда эпоха то застойна,
то взбаламучена до дна.

Достойно, главное, достойно,
чтоб раздаватели щедрот
не довели тебя до стойла
и не заткнули сеном рот.

Страх перед временем — паденье.
на трусость душу не потратить,
но приготовить себя к потере
всего, что страшно потерять.

И если все переломалось,
как невозможно предрешить,
скажи себе такую малость:
«И это надо пережить...»

Перейдем к другому предмету, где так же слышится у наших поэтов тот высокий лиризм, о котором идет речь, то-есть — любви к царю... Только холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине... Старик у дверей гроба не будет лгать.

Н. В. Гоголь. Выбранные места
из переписки с друзьями

Когда однажды вздрогнул Гоголь
перед видением конца,
как перед степью голой-голою,
где ни огня, ни бубенца, —
его ослабленная воля
поволоклась от всех страстей,
как будто перекаати-поле,
под колесо любви властей.
Что смяло? Пристава коляска?
Карета грузная царя?
Не все равно ль? Такая ласка
такому гению — не зря.
Он даже в слабости был смелым.
Искать сочувствия у тех,
кто был тобой самим осмеян, —
какая смелость!

Смех и грех.

Кому он каялся, несчастный?
Куда стопы его влекли?
Ужель какой-то пристав частный
преобразился от любви?
Но, и в любви заметив хаос,
натешась «галочками» всласть,
цензуровала, усмехаясь,
к себе в любви признанья — власть.
Как бредил он, как торопился,
какую мукою он жил,

когда из ключев переписки
себе при жизни саван сшил!
Как был раздроблен, как раздрызган,
когда родил под лязг цепей
мысль об особенном лиризме —
при воспевании царей.
Он обращался к одам ржавым.
Он позлащал кандалный сан
Державина...

А что Державин!

Пускай Державин скажет сам:
«Поймали птичку голосисту,
и ну сжимать ее рукой.
Пищит, бедняга, вместо свисту,
а ей твердят — пой, птичка, пой...»

Звучал действительно особо
такой раздавленный лиризм.
Не может лгать старик у гроба?
Есть, кто и в гробе завралась.
Тебе, державинская ода,
мое признание и поклон,
но той, где воздух, где свобода,
а не фелицын потный трон.
От гнета лгали, от несчастья,
зажаты, как последний смерд,
от жажды поумнения власти,
для коей поумнение — смерть.

Проклятье, а не укоризна
руке, зажавшей глас души,
когда «особенность лиризма»
доводит гениев до лжи.

Но не потупился Белинский
со строгой правдой молодой

В Михайловском выхода нет.
и мнимо возможен Невозможен из Пушкина выход,
В Михайловском лес, распахнутый в Пушкина вход.
В Михайловском лес, будто прошлого трепетный выдох.
Здесь вечности воздух, как грядущего бережный вдох.
течет, и Сорочь, как русская Лета,
 не смущаясь вторжения беглых зарниц,
и шелест страниц — продолжение шелеста леса,
а шелест его — продолжение вечных страниц.
Явление гения — это природы усилье.
Вздымаются всхолмья набухшим живым животом,
и Пушкиным новым беременно чрево России,
и страшно рожать, ибо страшно расстаться потом.

Когда Россию учит Пиночет
и проявляет даже бывший власовец
умильную учительскую ласковость —
учеников у них в России нет.
В учителя к России

набиваются.

О ней убийцы даже убиваются,
по-ханжески жадея наш народ.
Напрасно.

Им, убогим, не утешиться.

Нам не учитель ни ханжа отечественный,
ни импортный ханжа наоборот.
Учитель настоящий выше ханжества,
и если слово горькое им скажется —
то это с болью вырвется, как стон.
Не продает учитель слез и горя —
и, не забыв тридцать седьмого года,
про сорок пятый не забудет он.
Качаются

и маки

и репы,

как реквиемом,

ветром чуть колышима,

а из-под них советуют неслышимо
учители погибшие мои.

Я знаю, перед кем за жизнь отчитываться.
Семья в Сибири —

первая учительница

меня учила так,

как надлежит,

В ней жили,

никогда не раболепствуя.

В ней прочно уважалась революция,

в ней невозможно было слово «жид».
Когда учитель на руку нечист,
что взять с детей,
запутанных,
запущенных,
но все же не с болгаринных,
а с Пушкина
учители России начались.
Я видел много лжеучителей
чужого и родного производства
и в них нашел разительное сходство —
им дела нет
до Родины моей.
Не лезьте,
лжеучители,
в друзья —
вас, кажется,
об этом не просили.
Без лжеучителей
сама Россия
учительница главная своя.

Нравственность

Москву прозвали новым Римом,
но чужды ей сии слова.
Уйдет все временное дымом —
Москвой останется Москва.

России внутренняя ценность
не в реставрации церквей,
а чтобы в нравственность, как в церковь,
водили мы своих детей.

Безнравственность уже не русскость,
но, если нравственность жива,
Россия выстоит, не рухнет,
отринет римский путь Москва.

ветер особый должно создавать.
Если пылиночки не поколеблено,
следует,

юноши,
«SOS!» давать.

Молодость —

это эпохи проветриванье
В старости быть молодым трудней,
если вы быть молодыми промедлили
в молодости своей.

Разве такие вы все никудышные?
Время втяните

горячечным ртом.
Будет безветрие,
вами вдышанное,
ветром

выдышано
потом.

И ветер,
себя мирозданию
раздаривая,

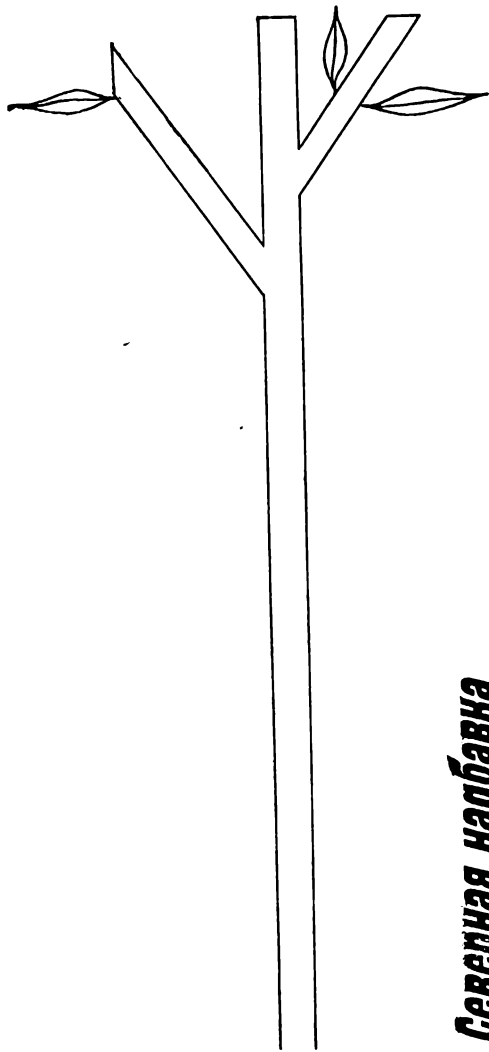
родится,
распластываясь
в броске,
и будут заслуженно рушиться
здания,

построенные
на песке.

И я, этих зданий немало воздвигнувший,
счастливо взгляну,

никого не виня,
как удаляется,
гриву

выгнувший,
ветер,
перепрыгнувший через меня..



Северная наубавна

«А вот пива,
товарищ начальник,
не сбросят небось ни
разá...» —

«Да если вам сбросить его —
разобьется...» —

«Ну хоть полизать,
когда разольется.

А правда, товарищ начальник,
в Америке — пиво в
железных банках?» —

«Это для тех,
у кого есть валюта в банках...» —

«А будет у нас жигулевское,
которое не разбивается?» —

«Не все, товарищи, сразу...

Промышленность развивается...»

И тогда возникает

северная тоска по пиву,
по русскому —
с кружечкой,
с воблочкой —
пиру.

И начинают:

«Когда и где
последний раз
я его...
того...»

Да, боже мой, братцы —
в Караганде!

Лет десять назад всего...»

Теперь у парня в руках
весь барак!

«А как?» —

Свободный обмен информацией,
свободный обмен идей.
Ссорит нас водка, братцы,
пиво — сближает людей...»

Но барак, —
притворившийся только, что спит:

«А спирт?»
И засыпает барак на обрыве,
своими снами
от вьюги храним,
и радужное,
как наклейка на пиве,
сиянье северное над ним.

А когда открывается
навигация, —
на первый,
ободранный о льдины пароход
на лодках
угрожающе
надвигается,
размахивая сотенными,
обеспивевший народ,
и вздрагивает мир
от накопившегося пыла:

«Пива!
Пива!»

з
Я уплывал
на одном из таких пароходов.
Едва успевший в каюту влезть,
сосед,
чтобы главного не прохлопать,
хрипло выдохнул:
«Пиво есть?» —

«Есть», — я ответил.

«А сколько ящиков?» —
последовал северный крупный вопрос,
и целых три ящика
настоящего

живого пива

буфетчик внес.

Закуской были консервные мидии.
Под сонное бульканье за кормой
с бульканьем

пил из бутылок невидимых
и ночью

сосед невидимый мой.

А утром,

пивной выпускаю дух,
мечтал он вслух:

«Лететь Аэрофлотом?
Мы лучше обождем.
Мы мерзли по мерзлотам
не за его боржом.

Я сяду лучше в поезд
Владивосток—Москва.
И я в брюшную полость
себе налью пивка.

Сольцой, чтоб зашипело!
Найду себе дружков,
чтоб теплая капелла
запела бы с боков.

С подобием улыбки
сквозь пенистый фужер
увидю я Подлипки,
как будто бы Танжер.

Аккредитивы в пояс
зашил я глубоко,
но мой финкарь пропорист —
отпарывать легко.

Куплю в комиссионке
костюм — сплошной кримплен.
Заахают девчонки,
но это — лишь трамплин.

Я в первом туалете
костюм себе сменю.
Двадцатое столетье
раскрою, как меню.

Пять лет я торопился
на этот пир горой.
Попользую я «пильзен»,
попраздную «праздрой».

Потом, конечно, в Сочи
с компашкой закачусь —
там погуляю сочно
от самых полных чувств.

Спроворит, как по нотам,
футбольнейший подкат
официант с блокнотом:
«Вам хванчку, мускат?»

Но зря шустряк в шалмане
ждет от меня кивка.
«Компании — шампани!
А для меня — пивка!»

Смеешься надо мною?
Мол, я — не из людей,

животное пиво,
без никаких идей?

Скажи, а ты по ягелю
таскал теодолит,
не пивом, а повальнойю
усталостью налит?

Скажи, а ты счастливо,
без всяких лососин,
пил бархатное пиво
из тундровых трясин?

А о пивную пену
крутящейся пурги
ты бился, как о стену,
когда вокруг ни зги?

Мы теплыми телами
боролись, кореш, с той,
как ледяное пламя,
дышавшей мерзлотой.

А тех, кто приустали,
внутри приняла земля,
и там, в гробу хрустальном,
тела из хрустала.

Я, кореш, малость выжат, —
прости мою вину.
Но ты скажи — кто движет
на Север всю страну?

На этот отпусочек —
кусочек жития,
на пиво и на Сочи
имею право я?!

Я северной надбавкой
не то чтоб слишком горд.
Я мамку, деда с бабкой
зарыл в голодный год.

Срединная Россия
послевоенных лет
гляди — теперь я в силе,
за пивом шлю в буфет!

Сеструха есть — Валюха.
Живет она в Клину,
и к ней еще до юга,
конечно, заверну...

Пей... Разве в пиве горечь, —
что ерзаешь лицом?
По пиву вдарим, кореш,
пивцо запьем пивцом...»

4

Эх, надбавка северная,
вправду сумасшедшая,
на снегу посеянная,
на снегу взошедшая!

Впрочем, здесь все рубрики,
как шагреня, сжимаются.
От мороза хрупкие
сотни здесь ломаются.

И, до боли яркие,
в самолетах ерзая,
прилетают яблоки,
все насквозь промерзлые.

Тело еле вынесло,
ночью изъелозилось,
а душа не вымерзла —
только подморозилась.

б

В столице были слипшиеся дни...
Он легче стал
на три аккредитива
и тяжелей
бутылок на сто пива,
и захотелось чаю и родни.

Особенно он как-то испугался,
когда, проснувшись,
вдруг нащупал галстук
на шее у себя,
а на ноге
почувствовал чужую чью-то ногу,
а чью — понять не мог,
придя к итогу

«Эге,
пора в дорогу...»

Сестру свою не видел он пять лет.
Пропахший запланированным «пильзенном»,
как блудный брат,
в кримплене грешном вылез он
в Клину чуть свет
с коробкою конфет.
В России было воскресенье,

но

очередей оно не отменяло,
и население женское умно
стук в двери магазинов применяло.

«А где они живут?» —

«Вон там живут.

Был Юрка на бульдозере,
а нынче

Валюха его тянет в институт,
и мужа,
и двоих детишек нянча.

Валюха,
доложу тебе,
душа...

А как насчет уколов хороша!
К высокому начальству ездит на дом
и всаживает шприц легко-легко...
Как видишь, оценили высоко
своим —

научно выражаясь —

задом».

Рванул приезжий дверь сестры слегка,
и ручка вмиг с шурупами осталась
в его руке,

и вздрогнула рука,
как будто бы нечаянно состарясь.
Он в мокрое внезапно ткнулся лбом
и о прищепку щеку оцарапал.
Пеленки в блеске бело-голубом
роняли, как минуты, капли на пол.
И он увидел,

сжавшийся в углу,
раздвинув тихо занавес пеленок:
один ребенок ерзал на полу,
и грудь сестры сосал другой ребенок.
А над электроплиткой,

юн и тощ,
половником помешивая борщ,
сестренкин муж читал,

как будто требник,

по дизельной механике учебник.

С глазами наподобие маслин,

в жабо воздушном,

у электроплитки

здесь, правда, третий лишний был —

Муслим,

но это не считалось —

на открытке.

Приезжий от пеленок сделал шаг,

и сдавленно он выговорил:

«Валя...» —

как будто призрак тех болот и шахт,

где есть концерты шумные едва ли.

Сестра с подмошкой ношею своей

привстала,

грудь прикрыла на мгновенье.

Всё женщины роняют от волненья,

но не роняют никогда детей.

«Я думала, что ты уже...» —

«Погиб?»

Как бы не так!

Держи, сестра, конфеты!» —

«А что ж ты не писал?» —

«Я — странный тип...

К тому ж у нас нехватка на конверты...» —

«Мой муж...» —

«Усек...» —

«Племянники твои...» —

«И это я усек...

Я, значит, дядя?

А где твой шприц?

Шампанского вколи!

Да завязав глаза, вколи, не глядя!» —

«Шампанского, Петюша?

Я сейчас...»

Сестра засуетилась виновато,
в момент из-под певца-лауреата
достав десятку —

тайный свой запас.
«Петр Щепочкин —
ты, братец, сукин сын!» —
в сердцах подумал о себе приезжий,

Муж приоделся
и в сорочке свежей
направился в соседний магазин.
Петр Щепочкин за ним тогда вдогон,
ему у кассы сотенную сунул,
но даже не рукой,

а просто сумкой
небрежно отстранил дензнаки он.
Петр Щепочкин его зауважал —
нет,
этот парень явно не нахлебник,
не зря, как видно, дизельный учебник,
страницы в борщ макая,
он держал.

А в комнатку тасил что мог, барак —
гость северный,
особенный, —
еще бы!

Был холодец,
и даже был форшмак!
Был даже красный одинокий рак —
с изысканною щедростью трущобы!
Не может жить Россия без пиров,
а если пир,
то это пир — всемирный!
Приперся дед,
боявшийся воров,

с полупустой бутылочкой имбирной.
Принес монтер,

как битлы, долгогрив,
с вишневкой, простоявшей зиму, четверть,
и, марлю осторожно приоткрыв,
стал вишенки

так нежно
ложкой черпать.

Зубровку —

неизвестное лицо

внесло,

уже в подпитии отчасти,
прибавив к ней вареное яйцо,
и притащила няня —

тетя Настя —

больничных нянь любимое винцо —
кагор,

напоминающий причастье.

Был самогон,

взлелеянный в селе,

о чуть лиловатым свекольным отливом...

Лишь пива не случилось на столе.

В Клину в то время плохо было с пивом,

И даже не мешало ребятье,

и так сияла Щепочкина Валя,

как будто в эту комнату ее

все население Родины созвали.

Но отгонявший тосты, словно мух,

напоминая, что она — Чернова,

шампанское прихлебывая, муж

украдкой листал учебник снова.

Глаз Валин, словно в детстве, чуть косил,

но больше на него,

им озабочен.

«Ты счастлива?» —

Петр Щепочкин спросил.

«Ой, Петенька, — она вздохнула. —
Очень...

Чего,

а счастья нам не брать взаимы.

Да только комнатуха тесновата.

Три года

как на очереди мы.

А в кооператив —

не та зарплата...»

Петр Щепочкин как шваркнулся об лед:

«Ты сколько получаешь?» —

«Сто пятнадцать.

Там Юрина стипендия пойдет,

и малость легче будет нам подняться...»

Петр Щепочкин плеснул себе кагор,

запил вишневкой,

а потом зубровкой,

и старику сказал он с расстановкой:

«Воров боишься?»

Я, старик, не вор.

Он размышлял про множество вещей —

про эти сторублевые зарплаты,

про десятиметровые палаты,

где запах и пеленок, и борщей.

Он думал:

«Что такое героизм?

Чего геройство показное стоит,

когда мы поднимаем гири ввысь,

наполненные только пустотою?

Мы бьемся с тундрой.

Нрав ее крутой.

Но женщины ведут не меньше битву

с бесчеловечной, вечной мерзлотой

не склонного к оттаиванию быта.

Не меньше, чем солдат поднять в бою,

Мне с той поры мерещилось, нет-нет,
мерцание в той сгорбленной старушке,
как будто голубой нездешний свет
внутри болотной кривенькой гнилушки.
Когда осиротели мы детьми,
то, притащив заветную заначку,
старушка протянула мне:

«Возьми...» —

бечевкой перетянутую пачку.
Как видно, пачку прятала в стреху —
пометом птичьим, паклей пахли деньги.
«Копила для надгробья старику.
Но камень подождет.

Берите, дети».

Старухин глаз единственный с тоской
слезой закрыло —

медленной,
большую,

но твердо бабка стукнула клюкой,
нам приказав:

«Берите — не чужое...»

Сестра шепнула на ухо:

«Бери...»

И с детства,

словно тайный свет в подспудье,
мне чудятся

красивые внутри
и лишь нерасколдованные люди...»

Петр Щепочкин стряхнул с тарелки шпрот:
«Сестренка с детства

в людях понимает...»

Чернов,

лапшинку направляя в рот,
с достоинством кивнул:

«Она умеет...»

Был заметён весь праздничный погром,
а Щепочкин чесал затылок снова,
пока исчезла с мусорным ведром
фигура монолитная Чернова.
Он гостью раскладушку распластал.
Почистил зубы,
щетку вымыл строго
и преспокойно на голову встал.
Гость вздрогнул,
впрочем, после понял — «Йога».

И Щепочкин решил:

«Ну — так на так! —
Выть может, легче,
чтоб не быть врагами,
душевный устанавливать контакт,
когда все люди встанут вверх ногами...»
И начал он,
решительно уже,
чуть вилкой не задев,
как будто в схватке,
качавшиеся чуть настоroje
черновские мозолистые пятки.
«Я для тебя, надеюсь, не Яга,
хотя меня ты все же дразнишь малость,
но для меня Валюха дорога —
из Щепочкиных двое нас осталось.
И Щепочкин продлится щепочкинский род,
хотя и прозывается черновским,
пусть он во внуках ваших не умрет,
ну хоть в глазенках —
проблеском чертовским.
Ты парень дельный.
Правда, с холодком,
Но ничего.

Я даже приморожен,

а что-то хлобыстнуло кипятком,
и я оттаял.

Ты оттаешь тоже.

С Валюхой все делили вместе мы,
но разговор мой с нею отпадает.

Так вот:

я дать хочу тебе взаймы.

Тебе.

Не ей.

Взаймы.

А не в подарок.

На кооператив.

На десять лет.

И — десять тыщ.

Прими.

Не будь ханжою.

Той бабке заколдованной вослед
я говорю:

«Берите — не чужое...»

Но, целеустремленно холодна,
чуть дергаясь,

как будто от нападок,
черновская возникла голова
на уровне его пропавших пяток.
«Легко заметить нашу бедность вам,
но вы помимо этого заметьте:
всего на свете я добился сам,
и только сам всего добьюсь на свете.
Отец мой пил.

В долгу был как в шелку.

Во мне с тех самых детских унижений
есть неприязнь к чужому кошельку
и страх любых долгов и одолжений.
Когда перед собой я ставлю цель,
не жажду я участия никакого.
Кому-то быть обязанным — как цепь,

которой ты к чужой руке прикован». —
«Как цепь? Ну что ж, тогда — я в кандалах! —
Петр Щепочкин воскликнул шепоточком. —
Я каторжник!

Я весь кругом в долгах!
Вовек не расквитаться мне,
и точка!
Прикован я к России —
есть должок.
Я к старикам прикован,
к малым детям.
Я весь не человек —
сплошной ожог
от собственных цепей
и счастлив этим!» —
«Вы человек такой,
а я другой... —
Чернов старался быть как можно мягче. —
Вы щедростью шумите,
как трубой
турист-канадец на хоккейном матче.
Бывает, Валя еле держит шприц,
зажата стиркой,
магазинной давкой,
и вдруг вы заявляетесь,
как принц,
швыряясь вашей северной надбавкой.
Но эта щедрость, Щепочкин, мелка.
Мы не бедны.
У вас плохое зренье.
Жалеть людей наездом,
свысока,
отделавшись подачкой, —
оскорбленье...»

И осенило Щепочкина вдруг:

он,

призывая фильм-спектакль на помощь!

«Я — труп! — вскричал. —

Еще живой, но труп! —

и рыданул:

— Зачем ты с трупом споришь!

Возьми ты десять тыщ.

Потом отдашь.

Какой я щедрый!

Я валяю ваньку.

Тебе открою тайну —

я алкаш.

Моим деньгам, Чернов, ищу я няньку.

Пусть эти деньги смирно полежат, —
не то сопьюсь». —

Он пальцы растопырил.

«Ты видишь?» —

«Что?» —

«Как что? —

Они дрожат.

Особенная дрожь.

Тоска по спирту». —

«Но Валя спирт могла достать,

а вам

шампанского красиво захотелось...» —

«Чернов,

недопустима мягкотелость

к таким, как я,

отрезанным ломтям!

С копыт я был бы сразу спиртом сбит,

и стало б меньше членом профсоюза.

На Севере,

смешав с шампанским спирт,

мы называем наш коктейль:

«Шампузо».

Обпились пивом!

Спирт, ей-богу, слаще.

Я знал бы раньше —

организовал

тебе пивка спецбаночного ящик...» —

«Как баночного?» —

«Думаешь, вранье?» —

«Почти.

Из фантастических романов». —

«А мы — фантасты!

В этом «громадь»,

как говорят поэты,

наших планов.

Все будет.

Все, быть может, даже есть —
лишь выяснится это чуть попозже,
но в том прекрасном будущем,

похоже,

не выпить мне уже и не поесть.

Чернов, Чернов,

меня не понял ты.

До Сочи я еще в Москву заеду.

Мне там вошьют особую «торпеду»,

чтоб я не пил.

А выпью — мне кранты.

Но при бутылках,

а не при свечах

я лягу в гроб,

достоинейший из трупов.

И как не выпить,

если там, в Сочах,

на стольких бедрах

столько хулахупов!

Инстинкты пожирают нас живьем.

Они смертельны,

но неукротимы.

Прощай, товарищ!
В поясе моем
защита смерть моя —
аккредитивы...»

Чернов его у двери —
за рукав:
«Постойте,
ну куда вы на ночь глядя?»

И зарыдал,
детей предсмертно глядя,
Петр Щепочкин,
трагически лукав:

«Прощайте, дети...
Погибает дядя...»

Стальные волчьи зубы не разжав
на горле у Чернова,

он молился:
«Рожай, дружок, решеньице,
рожай...»

Ну, ну, родимый,
раз — и отелился!..»

Чернов отер со лба холодный пот.
Задергался кадык,
худуш,

синеющ:
«Да, вы в нелегком положенье,
Петр...»

И Щепочкин услужливо:
«Савельич...» —

«Я знаю ваше отчество и сам.
Так вот что, Петр Савельич, —

в этом деле
теперь все ясно.

Принимаю деньги.

С условием —
я вам расписку дам». —
«А как же!

Без расписочки нельзя!
А где свидетель?» —

с радостным оскальцем
Петр Щепочкин куражился,

грозя
кривым от обмороженностей пальцем.
«Бюрократизм проник и в алкашей», —
Чернов подумал сдержанно и грустно,
но документ составил он искусно
под чмокание невинных малышей.
В охапке гостем дед был принесен,
болтающий тесемками кальсон,
за жизнь цепляясь,

дверь срывая с петель
при слове угрожающем:

«Свидетель»,
Вокруг себя распространяя тишь,
легли без обаянья чистогана
в аккредитивах скромных десять тыщ
на мокрый круг от чайного стакана.
Там были цифры прописью ясны,
и гриф «на предъявителя» был ясен,
Петр Щепочкин застегивал штаны
и размышлял:

«Чернов еще опасен.
Возьмет он деньги —
и на срочный вклад.

А через десять лет вернет проценты.
До отвращения честен этот гад.
В Америку таких бы,

в президенты.
Вернусь на Север —
вскоре отобью

про собственную гибель телеграммку.
Валюха мой портрет оправит в рамку —
я со стены Муслиму подпою...
Приеду к ним лет эдак через пять —
все время спитет...

Даже странно как-то.
Но мы — живые люди,

то есть факты.

Нас грех списать.

Нас надо описать.

Жаль, не пишу.

Есть парочка идей,

несложных,

без особых назиданий.

Вот первая —

нет маленьких страданий.

Еще одна —

нет маленьких людей.

Быть может,

несмышленный мой племяш,

ты превратишься в нового Толстого,

и в будущем ты Щепочкину дашь

им в прошлом не полученное слово.

И пусть продлится щепочкинский род,

в России, слава богу, нам не тесной,

и пусть Россия движется вперед

к России внуков —

новой,

неизвестной...

Во мне, как в пиве, пены до хрена.

Улучшусь.

Сам себя возьму я в руки.

Какие мы —

такая и страна.

Мы будем лучше —

лучше будут внуки».

Кончалась ночь. В ней люди,
и мосты,
и дымкою подернутые дали,
казалось —

ждали чьей-то доброты,
казалось —
расколдованности ждали.

Цистерна, оказав бараку честь,
прогрохотала мимо торопливо,
но не старался Щепочкин прочесть,
что на боку ее — «Квас» или «Пиво».
Он вспомнил ночь,

когда пурга мела,
когда и вправду в состояние трупа
ташил в рулоне карту, где была
пунктиром —

кимберлитовая трубка.
Хлестал снежище с четырех сторон.

«Вдруг не дойду!» —

саднила мысль занозой.

Но Щепочкин раскрыл тогда рулон,
грудь картой обмотав,
чтоб не замерзнуть.

Ко сну тянуло,
будто бы ко дну,
но дотащил он все-таки до базы
к своей груди прижатую страну,
и с нею вместе —
все ее алмазы...

Так Щепочкин,
стоявший у окна,
глядел,

как небо тихо очищалось.
Невидимой вокруг была страна,
но все-таки была,
но ощущалась.

Большая ты, Россия,
и в ширь, и в глубину.
Как руки ни раскину,
тебя не обниму.

Ты вместе с пистолетом,
как рану, а не роль,
твоим большим поэтам
дала большую боль.

Большие здесь морозы —
от них не жди тепла.
Большие были слезы,
большая кровь была.

Большие перемены
не обошлись без бед.
Большие были цены
твоих больших побед.

Ты вышптала ртами
больших очередей:
нет маленьких страданий,
нет маленьких людей.

Россия, ты большая,
и будь всегда большой,
себе не разрешая
мельчать ни в чем душой.

Ты мертвых нас разбудишь,
нам силу дашь взаймы,
и ты большая будешь,
пока большие мы...

Аэропорт «Домодедово» —
стеклянная ерш-изба,

где коктейль из «Гуд-бай!»
и «Покедова!».

Здесь можно увидеть индуса,
летающего в лапы к Якутии лютой,
уже опустившего уши

ондатровой шапки валютной.

А рядом — якут
с невеселыми мыслями о перегрузе
верхом восседает

на каторжнике-арбузе.

«Je vous en prie...» * —

«Чего ты,

не видишь коляски с ребенком, —

не при!»

«Me gusta mucho andar a Siberia» **.

«Зин, айда к телевизору —

про Штирлица новая серия».

«Danke schön! Auf Wiedersehen!» ***

«Ванька, наш рейс объявляют —

не стой ротозеем!»

Корреспондент реакционный
строчит в блокнот:

«Здесь шум и гам аукционный.

Никто не знает про отлет.

Что ищет русский человек

в болотах Тынды и Нарьян-Маров?

От взглядов красных комиссаров

он совершает свой побег...»

* Я вас прошу (франц.).

** Мне очень приятно отправиться в Сибирь (испан.).

*** Спасибо! До свиданья! (нем.).

Корреспондент по прогрессивней
строчит,

вдыхая иногда:
«Что потрясло меня в России —
ее движенье...

Но куда?
Когда пишу я строки эти,
передо мной стоит в буфете
и что-то пьет —
сибирский бог,
но в нашем,
западном кримплене.

Альтернативы нет отныне —
с Россией

нужен
диалог!»

А кто там в буфете кефирчик пьет,
в кримплене импортном,
в пляжной кепочке?

Петр?
Щепочкин?
Пьющий кефир?
Это что —
его новый цифирь?

«Ну как там,
в Сочи?» —

«Да так,
не очень...» —

«А было пиво?» —
«Да никакого.

Новороссийская квасокола». —

«А где же загар?» —
«Летит багажом». —

«Вдарим по пиву?» —
«Я лучше боржом». —

«Вшили «торпеду»?
Сдался врачу?!» —
«Нет, без «торпед»...
Привыкать не хочу».

И когда самолет,
за собой оставляя свист,
взмыл в небеса,
то внизу,
над землей отуманенной,
еще долго кружился списочный лист,
Щепочкиным

не отоваренный:
«Зам. нач. треста Сквородин —
в любом количестве валокордин.
Завскладом Курочкина,
вдова —
чулки двадцать седьмой номер.
Без шва.

Братья-геодезисты Петровы —
патроны.
Подрывник Жорка —
нить для сетей
из парашютного шелка.

Далее —
мелко —
фамилий полста:
детских колготок на разные возраста.
Завхоз экспедиции Зотов —
новых анекдотов.
Зотиха —

два —
для нее и подруги —
японских зонтика.

Для Анны Филипповны —
акушерки —

двухтомник Евтушенки.

Дине —

дыню.

Для Наумовичей —

обои.

Моющиеся.

Воспитательнице детсада —

зеленку.

Это — общественное.

Личное — дубленку.

Парикмахерше Семечкиной —

парик.

Желательно корейский.

С темечком.

Для жены завгара —

крем от загара.

Для милиционера

по прозвищу Пиф-паф —

пластинку Эдит

(неразборчиво)

Пьехи или Пьяф.

Для рыбинспектора,

по прозвищу Едрена феня —

блесну «Юбилейная»

на тайменя.

Для Кеши-монтера —

свечи для лодочного мотора.

Для клуба —

лазурной масляной краски,

для общежития —

копченой колбаски,

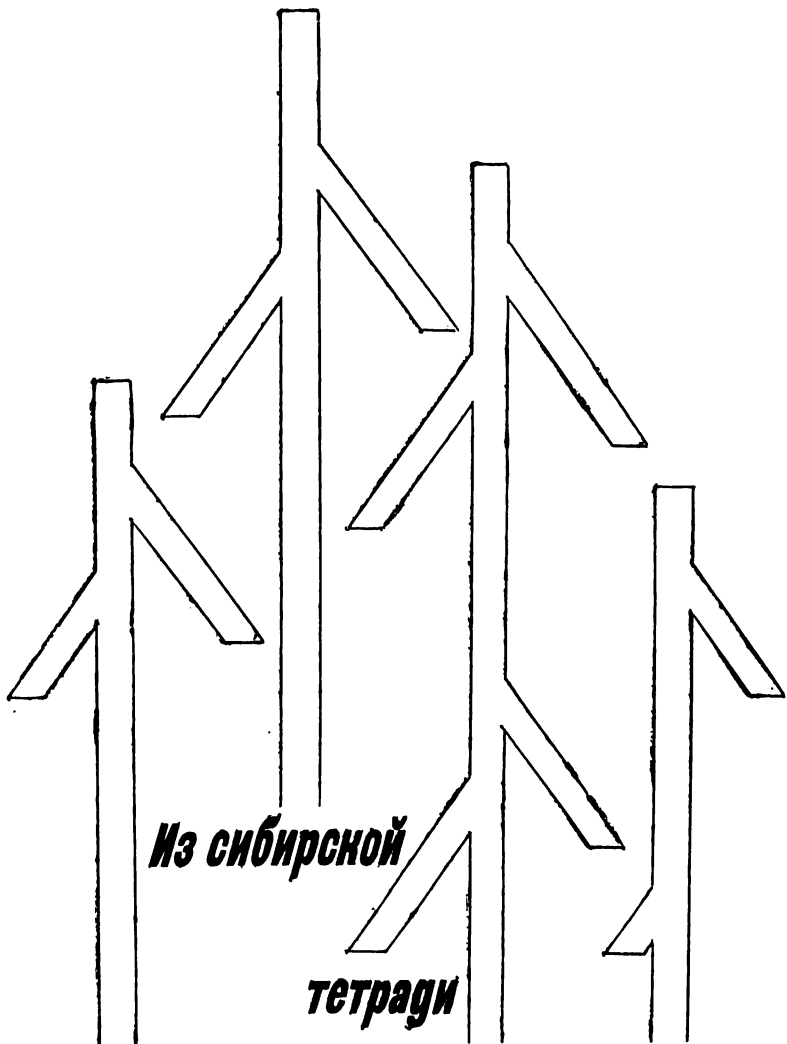
кому —

неизвестно —

колесико для детской коляски,

меховые сапожки типа «Аляски»,

Ганс Христиан Андерсен «Сказки».



Из сибирской

тетради

помогал по острогам,
этапам.
Ты за мною,
Байкал,
словно Бульба Тарас
за Остапом.
Если сети ты рвешь
и, поднявшись кудлато,
горбато,
«Слышишь, сынку?», —
ревешь,
отвечаю тебе:
«Слышу, батько!»
В небоскребы втыкал
я,
немножечко озороватый,
твое знамя,
Байкал, —
славный парус —
кафтан дыроватый.
Перед каждой страной
то, что я недосказывал в зале,
за моею спиной
кандалы,
грохоча,
досказали.
К твоим скалам,
Байкал,
не боясь расшибиться о скалы,
я всегда выгребал —
беглый каторжник славы.
Без тебя горизонт
быть не может в России лучистым.
Если ты загрязнен,
не могу себя чувствовать чистым.
Словно крик чистоты,

раздается
над гибнущей синью
голос твой:
«Защити,
защити,
слышишь, сынку?!»
Что мне сделать для скал,
для разгневанных волн оскорбленных —
ведь и сам я,
Байкал,
беззащитен,
как твой омуленок.
Что-то стонет во мне
вмерзшей в льды
твоей лодкой рыбацкой,
но кричу и во сне:
«Слышу, батько!»
До конца моих лет,
увернувшись от всяческих тралов,
я —
центральный поэт,
ибо предки мои —
из централов.
Что мне лоск ремесла!
Я хочу,
чтобы каждая строчка
хоть кого-то спасла,
как твоя омулевая бочка.

Дымятся избеночки нехотя,
и ветер играет в лото
бензинными бочками в Эқонде,
что значит «Никто и Ничто».

Какое название страшное,
но даже и в этом селе
эвенки, пришельцев не спрашивая,
себя называли: «илэ».

«Илэ» — человек, а не что-нибудь,
и было то слово в чести¹
в продымленном чуме, заштопанном
иглою из рыбьей кости.

Но Золушкой мира проклятого
ты мечешься, еле дыша,
как Сонечка Мармеладова,
униженная душа.

И, как Мармеладову Сонечку
в лицованном жалком пальто,
позор убеждать потихонечку
людей: «Вы никто и ничто».

В трущобах Манилы и Гарлема
в глазах выражение то,
как будто бы в лица им харкнули:
«Вы кто? Вы никто и ничто».

Какое похмелье мрачное,
вновь дернувши граммчиков сто,

добавить пять раз по сто граммчиков,
скуля: «Я никто и ничто».

Весьма утешение спорное
быть трусом, но скромным зато:
«Что сделать могу я в истории?
Кто я? Я никто и ничто».

Философы столькие трудятся,
но вновь предлагают не то...
Пока в нас ничто не пробудится,
мы будем и вправду никто.

Виллюйское море

Морем назваться лестно.
Море Виллюйское, ты —
мрачное кладбище леса,
кладбище красоты.

Море как с ядом чаша.
Воду прокипяти!
Ты, бесхозяйственность наша,
стала хозяйкой почти!

Сосны, рябины в бусах,
спрятанные в тайники,
в дно катерка скребутся,
будто утопленники.

Там под водой не коряга,
скрюченный чей-то двойник.
Там под водой бумага
наших утопленных книг.

Там под водою скрыты
волею чьей-то тупой,
может быть, кимберлиты,
может быть, мы с тобой.

Все-таки непокорны,
отстаивая права,
перегнивая у корня,
прыгают вверх дерева.

В катер врезаются с хода
черные топляки,
будто сама природа
показывает кулаки.

Зачем, гнусарик,
ты вползаешь вновь
в мои морщины,
вылетев из чащи?
Ведь не перерабатывает кровь
живую —
твой желудочек жалчайший.
Не оскорбляй своим зуденьем сины!
Все, что бывает подлым кровопийством,
кончается всегда самоубийством
хотя бы под веселое «дзинь-дзинь».
И верю в жизнь не гнусную —
иную,
когда, закончив кровопийц дела,
качают волны вольного Вилюя
гнусариков зарвавшихся тела...

Сквозь восемь тысяч километров

В колымских скалах, будто смертник,
собой запряганный в тайге,
сквозь восемь тысяч километров
я голодаю по тебе.

Сквозь восемь тысяч километров
хочу руками прорасти.
Сквозь восемь тысяч километров
хочу тебя обнять, спасти.

Сквозь восемь тысяч километров,
все зубы обломав об лед,
мой голод ждет, мой голод верит,
не ждет, не верит, снова ждет.

И меня гонит, гонит, гонит,
во мхах предательских топя,
изголодавшийся мой голод
все дальше, дальше от тебя.

Я только призрак твой голодаю
и стал как будто призрак сам.
По голосу я голодаю
и голодаю по глазам.

И, превратившаяся в тело,
что ждет хоть капли из ковша,
колымской призрачною тенью
пошатывается душа.

И, в дверь твою вторгаясь грубо,
уйдя от вышек и облав,
пересыхающие губы
торчат сквозь телеграфный бланк.

Пространство — это не разлука.
Разлука может быть впритык.
У голода есть скорость звука,
когда он — стон, когда он — крик.

И на крыле любого Ила,
вкогтившись в клепку, словно зверь,
к тебе летит душа, что взвыла
и стала голодом теперь.

Сквозь восемь тысяч километров
любовь пространством воскреси.
Пришли мне голод свой ответный
и этим голодом спаси.

Пришли его, не жди, не медли —
ведь насмерть душу или плоть
сквозь восемь тысяч километров
ресницы могут уколоть.

В лодке, под дождем колымским льющим,
примерзая пальцами к рулю,
я боюсь, что ты меня не любишь,
и боюсь, что я тебя люблю.

А глаза якута Серафима,
полные тоской глухонемой,
будто две дыминочки из дыма
горького костра над Колымой.

Черен чай, как будто деготь, в чашке.
Сахарку бы надо подложить...
«Серафим, а что такое счастье?» —
«Счастье в том, чтобы подольше жить».

Серафим, пора уже ложиться,
но тебя помучаю я вновь:
«А не лучше самой долгой жизни
самая короткая любовь?»

Серафим на это не попался —
словно в полусне, глаза смежил.
«Лучше — только это и опасно.
Кто любил — тот вряд ли долго жил».

Знают это и якут и чукча,
как патроны, сберегая дни:
дорого обходятся нам чувства —
жизнь короче делают они.

Золото в ручье нашел Бориска,
и убило золото его.
Вот мы почему любви боимся,
как чумного золота того.

Чтобы не пугал пожар, как призрак,
дотопчи костер и додави.
Горек он, костерный дымный привкус,
даже у счастливейшей любви.

Вот какие наши разговоры.
Колыма полночная темна,
лишь творожно брезжущие створы
светятся, как женские тела.

Струи как натянутые лески.
Дождь навеки, видно, обложил...
Не хочу я долгой жизни, — если
кто любил, тот вряд ли долго жил.

Вторая добыча

Любимая, не разлюби.
Любимая, не раздоби
мне каблучками позвоночника.
Чтоб медленно сходить с ума,
нет лучше мест, чем Колыма,
где золото не позолочено.

Вода колымская мутна.
В ней все раздражено до дна.
Грязь — это дочь родная золота,
а что с тобой искали мы,
когда, как берег Колымы,
душа искромсана, изодрана?

На мокром камушке сижу,
сквозь накомарник чай цежу.
Неужто зря река изранена?
Но золотым песком о зуб
вдруг хрустнет, к нам попавшись в суп,
новозеландская баранина.

Закон таков на приисках —
в давно процеженных песках,
когда их снова цедят, встряхивают,
такое золото молчком
вдруг вспыхнет желтеньким бочком,
что, ахнув, даже драги вздрагивают.

Есть в первой добыче обман,
когда заносят в промфинплан,
что все здесь выскреблено дочиста.
Несчастен тот, кто забывал
любовь, как брошенный отвал.
Есть и в любви вторая добыча.

На полигоне золотом
я вспоминаю зло о том,
как с первой добычей небрежничал,
но из промытого песка,
так далека и так близка,
вновь золотая прядь забрезжила.

Вторая добыча — верней.
Все, чем последней, тем ценней.
Ни в чем последнем нет бесследного,
Есть и у золота конец,
но для венчальных двух колец
мне хватит золота последнего.

Колумбиха

Вдоль верфи, возле Киренска,
идут, задумав скинуться,
и плотники, и сварщики, —
их что-то жажда жжет,

а на огромной лужище,
поварчивая любяще,
как ласковое чудище,
их лодочница ждет,

У океана местного,
прокисшего, но пресного,
пожалуй, что известного
еще и при царе,

привыкли к этой лодочке,
где женщина — в середочке,
хоть не годна в молодочки,
а все-таки в цене.

Она такая слышная,
она такая пышная,
но вовсе не одышная —
искрят ее глаза.

Грузá у ней мужчинные,
немножко матерщинные,
но все же не машинные —
а свойские груза.

Зовут ее Колумбихой...
На лодочке голубенькой

всегдашним объявлением
рабочих веселя,

лишь только станет меленько, —
как будто здесь Америка, —
веслом достав до берега,
она басит: «Земля!»

Лишь метров тридцать — плаванье,
но все ведется планоно.

Уключины
приучены
поскрипывать легко,
и столько тысяч верст она
вспахала в луже веслами,
что вправду — до Америки
не так уж далеко.

Лишь руки разжимаются,
по веслам снова маются.
А счастлива Колумбиха?
Попробуй расспроси.

Расскажет все без робости,
лишь опустив подробности,
как ей живется весело,
вольготно на Руси.

Здесь лодочка приличная —
подружка закадычная.
Своя, не заграничная —
российская вода.

Спокойно быть ей служащей
на этой самой лужище:

отсюда — дотудова,
оттуда — сюда.

И то ли ей хохочется,
а то ли плакать хочется —
скрывает все скуластое,
угластое лицо.

А на борту, усталая,
автопокрышка старая,
как с лужей обручальное
причальное кольцо.

Все знают и о панике
на гибнущем «Титанике»,
о плаванье Чичестера,
о паруснике «Ра»,

а мы про эту лодочку
припомним-ка под водочку
и выпьем за погодочку,
за солнышко с утра.

Я чинно, по-хорошему
скажу Харон Харонычу:
«Меня зазря хоронишь ты!
Ты — лодочник не тот».

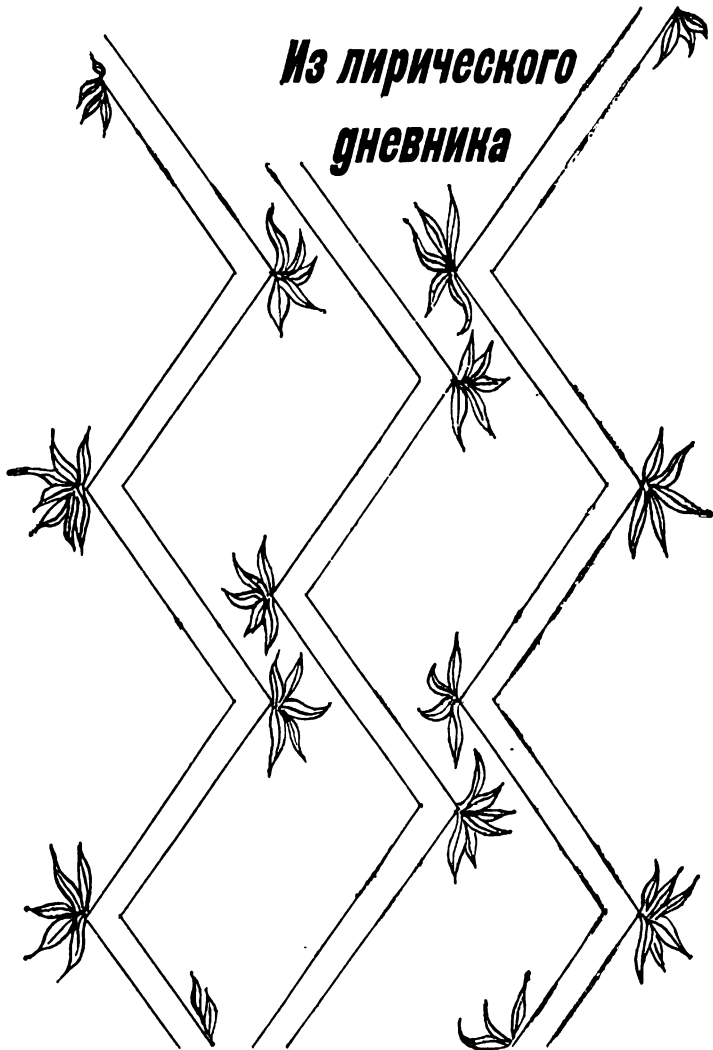
И все-таки получше же,
когда меня по лужище,
себе под нос поющая,
Колумбиха везет.

И пусть не в смерть нездешнюю,
а в жизнь живую, грешную,
в смешную и насмешную,

но и небезутешную,
несет меня вода,

а если кто отчаётся,
пусть с нами покачается:
оттуда — досюдова,
отсюдова — туда...

**Из лирического
дневника**



такие шутики в жизни отмочившего,
наверное, не самого умнейшего,
но, без сомненья,
самого шумнейшего.

Губами
пальцев дрябнувших
касаясь,
в старухах стольких
вижу смерть красавиц.

На молодом Калининском проспекте
неволью вспоминаю я
про смерти
тех переулков милых,
в чьих извивах
я столько делал глупостей счастливых.

Любое слово,
самое непрошеное,
едва покинув губы, —
наше прошлое.

Любая искра,
нашим пальцем сброшенная
с горячей сигареты, —
наше прошлое.

Вот я кому-то руку пожимаю.
Он спрашивает,
как я поживаю,
но прошлое возьмет
и сквозь приятельство

подсунет
его давнее предательство,
и пакостно
от этой старой новости.

А я забыл ему.
Я поздоровался.
Ему кричу я в прошлое с испугом:

«Не предавай меня!

Останься другом!»

Вот женщина с глазами подсиненными,
с движениями,

страху подчиненными.

Но всех других времен

сильнее прошлое,

и я хороший там,

и ты хорошая.

Там первый снег с твоих ресниц сцеловываю.

Там ты от всех морщинок исцеленная,

идти по льду

в высоких туфлях не решающаяся,
как олененок на копытцах, разъезжающаяся.

Кричу тебе сквозь время и пространство:

«Останься!

Не расстанься!»

И остаешься ты!

И все меняется!

За мысль предать меня

товарищ извиняется.

И вдруг в кафе вбегает Юрий Карлович,

и все виденья обретают плоть,

и я —

мальчишка,

что-то вновь откалывающий,
что в жизни никому не отколоть.

Подворотни

Мир московских подворотен
был всегда наоборотен,
по сравненью с миром школ.
Там компании блатные
были мне родным-родные —
я из них произошел.

Если ты не полудурок,
то подобранный окурок
замечательно хорош.
Там любой пьянчуга — крестный.
Там из горлышка, как взрослый,
портвешка чуть-чуть хлебнешь.

Девки, росшие в подвале,
мне уже преподавали
поцелуи с портвешком,
и меня, как дочь барака,
воспитала нежность мрака —
я с иною незнаком.

И однажды рано утром
по ручьям, беспутно ртутным,
словно чертик из стены,
вышел я из подворотни
и пошел кидать, как сотни,
людям под ноги стихи...

Лейб-кампанцы

Ус крученый, в бордо моченный,
вам напрасен любой совет,
выдвиженцы-преображенцы,
лейб-кампанцы Елисавет.

Ах, какая была эта ночка!
Путь указывала не рука,
а самой государыни ножка
на солдатском плече у штыка.

Но увидят уже без блаженства
на смотре по прошествии лет
постаревшие преображенцы
постаревшую Елисавет.

Кто-то вздрогнет, во фронт распрямившись,
и прошепчет, пропито дыша:
«Погрузнела... А вспомни-ка, Мишка,
как на ощупь была хороша!»

Забудьте меня

Забудьте меня,
если это забвенье
счастливее сделает вас на мгновенье,
забудьте,
как темной тайги дуновенье
и как дуновению
повиновенье.

Забудьте меня,
как себя забывают,
и только при этом
собою бывают.

Забудьте меня,
словно отблеск пожара,
чье пламя вас грело и вам угрожало,
и жаром, и холодом вас окружало.
и, вас обвиняя, по телу бежало.
Забудьте меня,

словно поезд, промчавший
горящие окна над черною чащей
и в памяти даже уже не стучащий,
как будто пропавший,
как будто пропащий.

Забудьте меня.
Поступите отважно.

Я был или не был —
не так это важно,
лишь вы бы глядели
тревожно и влажно
и жили бы молодо и непродажно...
Но не забывать —
это право забытых,
как сниться живым —
это право убитых.

Под поездом

Ты вся сжалась внутри.

Что тебе до признаний лирических,
если, будто бы Кедрин,

какою-то темной рукой,
твой любимый был выброшен в двери одной электрички
и раздавлен

летающей навстречу другой.

Это было три года назад,

но в затравленной вдовьей придавленности,
ты, пытаясь раскрыть свои губы навстречу моим,
в страхе шепчешь, меня оттолкнув:

«Я предательница!» —

и твой суд над собою палачески неумолим.

Ты боишься мужчин.

Всюду чудится скользкое, низкое.
Как спасательный крошечный круг:

обручальное светит кольцо.

И когда утешаю неловко тебя:

«Вы неискренни!» —

защищаясь, бросаешь мне больно в лицо.

Ты на пляже лежишь.

Твое тело красиво и молодо.

Чьи-то сальные взгляды

купальник бесстыдно сдирают с тебя,
и не видит никто,

что колесами ты перемолота,
что грохочут они до сих пор,
твои ребра дробя.

Но не видишь и ты

мертвым взглядом, из времени выпавшим,
да и видеть не хочешь —

не веря мне, будто вралю, —
что я тоже под поезд любовью из поезда выброшен
и что я под колесами тоже предсмертно хриплю...

Я,
 переживший по возрасту
 Пушкина,
 Лермонтова,
 Есенина,
 Маяковского,
удачу,
 мною не заслуженную,
 видимо, с молоком всосал.
Я был в шестидесяти четырех странах —
 больше, чем все поэты России до меня.
Мне аплодировали цивилизованные народы
 и первобытные племена,
Чего говорить, конечно —
 счастливчик с двумя макушками —
ведь вообще за границу
 не выпускали Пушкина.
Я говорил с президентами,
 с государственными секретарями —
лишь в силу определенных исторических обстоятельств
 не удалось установить контактов с царями.
После судьбы Кольцова,
 после судьбы Полежаева
моя судьба сверхъестественна,
 моя судьба поражающа.
Убили Колю Отрада
 на фронте,
 двадцатилетнего,
а я до сих пор удивляюсь, как чуду,
 собственному уцелению.
А я выступал во Дворце спорта,
 иногда выбирался в президиум,



Зашумит ли клеверное поле,
заскрипят ли сосны на ветру,
я замру, прислушаюсь и вспомню,
что и я когда-нибудь умру.

Но на крыше возле водостока
встанет мальчик с голубем тугим,
и пойму, что умереть — жестоко
и к себе, и, главное, к другим.

Чувства жизни нет без чувства смерти.
Мы уйдем не как в песок вода,
но живые, те, что мертвых сменят,
не заменят мертвых никогда.

Кое-что я в жизни этой понял, —
значит, я недаром битым был.
Я забыл, казалось, все, что помнил,
но запомнил все, что я забыл.

Понял я, что в детстве снег пушистей,
зеленее в юности холмы,
понял я, что в жизни столько жизней,
сколько раз любили в жизни мы.

Понял я, что тайно был причастен
к стольким людям сразу всех времен.
Понял я, что человек несчастен,
потому что счастья ищет он.

В счастье есть порой такая тупость.
Счастье смотрит пусто и легко.
Горе смотрит, горестно потупясь,
потому и видит глубоко.

Счастье — словно взгляд из самолета.
Горе видит землю без прикрас.
В счастье есть предательское что-то —
горе человека не предаст.

Счастлив был и я неосторожно,
слава богу — счастье не сбылось.
Я хотел того, что невозможно.
Хорошо, что мне не удалось.

Я люблю вас, люди-человеки,
и стремленье к счастью вам прощу.
Я теперь счастливым стал навеки,
потому что счастья не ищу.

Мне бы — только клевера сладинку
на губах застывших уберечь.
Мне бы — только малую слабинку —
все-таки совсем не умереть.

Когда я шубу дедову донашивал
и протирал отцовские штаны,
один поэт меня все время спрашивал,
где бы ни встретил:

«Деньги не нужны?»

Он где-то подрабатывал на радио
и не от жиру деньги предлагал.
Он объяснял мне, что в стихах неправильно.
Что было слишком правильно — ругал.

Когда я на него стихи обрушивал
и что-то в них воинственно громил,
поэт кормил меня компотом грушевым,
а также абрикосовым кормил.

Я все компоты на стихи разбрызгивал —
в них что-то витаминное вошло,
а из компотных косточек разгрызенных
во мне — надеюсь — кое-что вошло.

Я стал в какой-то степени прославленным,
хотя мне было двадцать с малым лет,
и вот ко мне явился за признанием
голодный начинающий поэт.

Свои стихи читал он до полуночи.
Мне показалось — парень от земли,
настолько ногти детские до луночек
невытравимой грязью заросли.

Его спросила мама: «Может, супчика?» —
Он всю кастрюлю выхлебал до дна,

а уходя, мне пробурчал насупленно:
«Меня еще узнает вся страна».

Он боком влез в поэзию затихшую
лет через пять, и, словно старожил,
он руку, ложку мамину забывшую,
к битью меня однажды приложил.

Был на собрание перерыв. Был вакуум
вокруг меня в кафе, где толчея,
и только в кофе одиноко звякала
растерянная ложечка моя.

Он подошел, светясь гражданской совестью,
сияющий победно сукин сын,
с пакетом, где округло прорисовывались
тугие очертанья апельсин.

«Не позабыл я супчик твоей мамочки.
Теперь тебе конец. Теперь мой час.
Я апельсин купил пять килограммчиков.
А видишь хвост зеленый? Ананас».

Бывают и сильнее потрясения,
но что-то меня все же потрясло,
и есть во мне порою опасение,
что выродится наше ремесло.

Не скряга я, но не играю в купчика,
и если молодой поэт придет,
я с тайным страхом спрашиваю: «Супчика?» —
с надеждой добавляя: «Есть компот...»

Машина шла под снегопадом,
ничто на свете не смягчавшим,
и женщина рыдала рядом
с шофером, каменно смолчавшим.

И вздрагивала вся от плача,
в руках измучена и смята,
так беззащитна по-цыплячьи,
мимоза на Восьмое марта.

Как будто вдребезги посуду
бьет зарыдавшая усталость:
«Ну хорошо, — я с вами буду.
Но вы уйдете — я останусь...»

Уже от завтрашней обиды,
уже от завтрашней печали,
почти покинувши орбиты,
глаза на ниточках торчали.

И где-то у Преображенки
в слезах, как в лизне, как в лавине,
вдруг вырыдалось так по-женски:
«Что сделать, чтоб меня любили!

В любви я, видно, неумеха.
Меня назавтра избегают.
Не слез мужчины ищут — смеха.
Я плакса — это их пугает.

Я с вами снова сплеховала.
Какого черта на мимозы
я лью, агент по страхованию,
незастрахованные слезы.

А я хождение по квартирам
люблю, хотя ходить неловко.
Но столько связывает с миром,
как утешение, страховка.

Бывает, ветхая старушка
на ладан дышит, расхворалась,
но льстит бумажная игрушка,
что все-таки застраховалась.

Здесь до меня был Петр Степаныч,
и по инерции вчерашней
мне подают порой стаканчик
своей наливочки домашней.

Суют у двери торопливо,
сьнишке передав приветы,
как Петр Степанычу «на пиво»,
копеек сорок «на конфеты»...»

Машина шла неумолимо.
Навстречу снег летел со свистом.
Шофера будто надломило,
но руль он только крепче стиснул.

Был март, далекий до апреля, —
в нем было холодно и пусто.
Вокруг невидимо горели
незастрахованные чувства.

И о стекло о лобовое
так бились искры голубые,
и нарастало в снежном вое:
«Что сделать, чтоб меня любили!»

Высокопарность —

это низкий слог.

Апостолов ее подозреваю

в том, что, страданье низведя до слов,
они,

забыв про ад,

погрязли в рае.

Не стыдно,

плача, к матери припасть,
распухшими губами в платье тычась,
но, как наемной плакальщицы страсть,
поэта унижает «поэтичность».

Высокопарность — ловкость рук...

В Сухуми

я слышал званой плакальщицы вой.

Она,

слезясь, как на пиру сулгуни,
о гроб умело билась головой.

Она высокопарно раздувала,
как черный огонь,

свой ложный сложный плач
и профессионально раздирала
лицо себе,

как скрипочку скрипач.

Вся в бородавках,

жирная старуха,

она,

качая брюхо на весу,
внезапно с красно-сизой мочки уха
клипс выронила

в ноги мертвецу.

Но выручила сила ремесла.

С возникновеньем низенькой задачи

высокопарность даже возросла
у хорошо оплаченного плача.

И, не срывая церемониала,
старуха

головой

в цветы ныряла
и, правую рукой из бородавок
со свистом выдирая волоски,
обшаривала левою,

рыдая,

покойнику

и брюки и носки.

Ее не смог бы оторвать силач —
так в гроб вросла —

припадочно и липко.

Казалось всем,

что был великий плач.

А это было —

поисками клипса.

* * *

Проклятие — я профессионал.
Могу создать блистательную штучку
из слез всех тех, кого я доконал,
страданья заправляя в авторучку.

В профессии поэта есть позор
весьма доходной исповеди в рифму,
когда на общий радостный обзор
он отдает чужие боли рынку.

Кровь ближних пьет поэт, чтобы воспрясть,
без умысла какого-либо злого,
и ненавижу я себя за власть
чужою болью вскормленного слова.

А ты, паскуда-слава, возросла
на чьих костях, на чьих слезах горючих?
Будь проклято вампириство ремесла,
основанного подло на созвучьях.

Профессии такой прощенья нет.
Чужая кровь лишь выглядит лилово...
Но тут и начинается поэт,
когда приходит отвращенье к слову.

Не исчезай

Не исчезай... Исчезнув из меня,
развоплотясь, ты из себя исчезнешь,
себе самой навеки изменяя,
и это будет низшая нечестность.

Не исчезай... Исчезнуть — так легко.
Воскреснуть друг для друга невозможно.
Смерть втягивает слишком глубоко.
Стать мертвым хоть на миг — неосторожно.

Не исчезай... Забудь про третью тень.
В любви есть только двое. Третьих нету.
Чисты мы будем оба в судный день,
когда нас трубы призовут к ответу.

Не исчезай... Мы искупили грех.
Мы оба неподсудны, невозбранны.
Достойны мы с тобой прощенья тех,
кому невольно причинили раны.

Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг,
но как нам после встретиться в столетьях?
Возможен ли на свете твой двойник
и мой двойник? Лишь только в наших детях.

Не исчезай. Дай мне свою ладонь.
На ней написан я — я в это верю.
Тем и страшна последняя любовь,
что это не любовь, а страх потери.

И в тебе проходило.

Совсем.

Навсегда.

Без остатка.

Разве это проходит?» —

зацепка за что-то вовне.

Разве это проходит?» —

надежды последняя ставка.

[тону.

Только черная бездна вокруг.

Ю, светясь будто беленький парходик,

ы кидаешь

последний спасательный круг!

Разве это проходит?»

Ты победила

Волна волос прошла сквозь мои пальцы,
и где она —

волна твоих волос?

Я в тень твою,

как будто зверь, попался

и на колени перед ней валюсь.

Но тень есть тень.

Нет в тени теплой плоти,
внутри которой теплая душа.

Бесплотное виденье,

как бесплодьё,

в меня вселилось,

душу иссуша.

Я победил тебя игрой и бредом

и тем, что был свободен,

а не твой.

Теперь я за свою свободу предан

и тщетно трую о призрак головой.

Теперь я проклиная эти годы,

когда любовь разменивал на ложь.

Теперь я умоляю несвободы,

но мстительно свободу ты даешь.

Как верил я в твои глаза и двери,

а сам искал других дверей и глаз.

Неужто нужен нам ожог неверья,

а вера избаловывает нас?

Я ревности не знал.

Ты пробудила
ее во мне, всю душу раскровя.

Теперь я твой навек.

Ты победила.

Ты победила тем,

что не моя.

Спасение наше — друг в друге,
в божественно замкнутом круге,
куда посторонним нет входа,
где третье лицо — лишь природа.

Спасение наше — друг в друге,
в разломленной надвое вьюге,
в разломленном надвое солнце.
Все поровну. Этим спасемся.

Спасение наше — друг в друге:
в сжимающем сердце испуге
вдвоем не остаться, расстаться
и в руки чужие достаться.

Родители нам — не защита.
Мы дети друг друга — не чьи-то.
Нам выпало нянчиться с нами.
Родители наши — мы сами.

Какие поддельные страсти
толкают к наживе и власти,
и только та страсть неподдельна,
где двое навек неотдельны.

Всемирная слава — лишь призрак,
когда ты любимой не признан.
Хочу я быть всеми забытым
и только в тебе знаменитым!

А чем я тебя обольщаю?
Бессмертье во мне обещаю.
Такую внутри меня славу,
которой достойна по праву.

Друг в друга навек перелиты,
мы слиты. Мы как сталактиты.
И северное сиянье —
не наше ли это сиянье?

Людей девяносто процентов
не знают любви полноценной,
поэтому так узколобы
апостолы силы и злобы.

Но если среди оскопленных
осталось лишь двое влюбленных,
надеяться можно нелживо:
еще человечество живо.

Стоит на любви все живое.
Великая армия — двое.
Пусть шепчут и губы, и руки:
«Спасение наше — друг в друге».

На распутье

Словно витязь в помятом шеломе,
я опять на распутье стою,
но воробушком что-то живое
еще бьется в кольчугу мою.

И прошу я смиренно кольчугу:
ты все стрелы мои раздели,
только сердце мое, как пичугу,
своей тяжестью не раздави.

Что все воинские успехи,
если нас прикрывают собой
раздавившие сердце доспехи?
Жизнь без сердца — проигранный бой.

Зорче сокола на рукавице
тот воробушек в нашей груди.
Посоветует остановиться —
ты немедля коня осади.

Превращается знамя в лоскутья,
если вдруг променял кто-нибудь
в чистом поле величье распутья
на нечистый подсунутый путь...

* * *

Форма — это тоже содержание,
Пламенная форма у огня,
Вложено встревоженное ржание
В форму совершенную коня.

Облако набухшее набито
Темным содержанием грозы,
И такое содержание скрыто
В форме человеческой слезы!

* * *

Мне чужды экстремисты... Мне приелись
их трепотня, их умственный разврат.
Вся эта ультраправость, ультралевость
рутиной одинаково разят.

И в мире, двунаправленно рутинном,
где рвутся к власти с бомбой под полой,
спасенье ни в «Да здравствует!» ретивом,
ни в злобно-разрушительном «Долой!».

Но между «про» и «контра» есть на свете,
как будто между мечущихся пуль,
рутинность омерзительная третья —
тресливая возвышенность чистюль.

* * *

Каплет ли над лирой
или в нее — молния,
не капитулирую.
Белый флаг — безмолвие.

К черту пораженчество,
белый флаг — в клочки,
если пара шепчется
где-то у реки...

Муравьи

Душа Платона и Сократа,
возможно, более сильна
у муравья — меньшого брата
титана вечности — слона.

Слоны на некоем пьедестале
над муравьями вознеслись,
теряя из виду детали,
а в них порой — всей жизни смысл.

Под муравьем не скрипнет мостик,
не вздрогнет поросенка хвостик,
хвастливый, розово-седой,
когда мураш, по кличке Костик,
спешит с травинкой молодой.

А ведь возможно так, что сразу
у Костика, у мураша,
есть, между прочим, трезвый разум
и очень чистая душа.

А ведь, возможно, этот Костик —
философ, тонкий диагностик,
борец за высший идеал.
Как будто гром возмездья грянув,
ведет к падению титанов
недооценка тех, кто мал.

Титаны в гнев Полифемы.
Потом бывают слепы, немые,
оставив шар земной в крови.
А в муравьях — напора мягкость,
и после битв — заметил Маркес —
кто побеждает? Муравьи.

Ромашки, маки мне велели
сказать хотя бы в двух словах,
что скрытый яд Макиавелли
порой сидит и в муравьях.

Вот поле. А на поле оном,
его считая полигоном,
где ветер славы засвистит,
иной мураш в Наполеоны
и даже в Гитлеры хотит.

Но о таких сейчас — не будем.
Сказать хорошим добрым людям
сегодня, может быть, пора
о муравьях добролюбивых,
трудолюбивых в их порывах
по воплощению добра.

И слышу с нежностью сыновней,
в любви душою не кривя,
над муравьиностью слоновьей
слоновью

 поступь
 муравья!

На грейдерной дороге

Какой бездарный грейдер,
какой на нем разор!
За гребнем новый гребень,
и не спасти рессор.

По таким дорогам
для пользы сверхидей
ходить бы только йогам —
любителям гвоздей.

Ржавучие обломки
железных странных тел —
живучие потомки
бесславных чьих-то дел.

Тут — рыли генерально,
но, проявляя прыть,
решили гениально
на новом месте рыть.

Разгадка этой драмы
проще щей пустых:
мы сами роём ямы
и сами вязнем в них.

Деревни голосуют
и просят: — Вывози!
Вся жизнь моя буксует,
как грузовик в грязи.

Вся жизнь — борьба с болотом.
Измотан, как и все,
я брежу поворотом
на чистое шоссе.

Тяжелый путь — учитель,
но мучит он детей,
ведь грязь — ограничитель
возможных скоростей.

А как бы → не натужно
ползти по грязноте,
а дать на всю катушку
с вселенной на хвосте!

Но ты свою баранку
крути, крути, крути.
Болотную баланду
измором укроти.

Уже вокруг намгдело,
а нет шоссе в виду,
но ты включай налево
мигалку, как звезду.

Пусть для коллег ты жалкий
любитель-идиот —
не жди, зови мигалкой
заветный поворот.

Повсюду грязь в разливе,
и фары гложут мрак,
но месяц над Россией,
как поворотный знак...

* * *

Вы полюбите меня. Но не сразу.
Вы полюбите меня скрытноглазо.

Вы полюбите меня вздрогом тела,
Будто птица к вам в окно залетела.

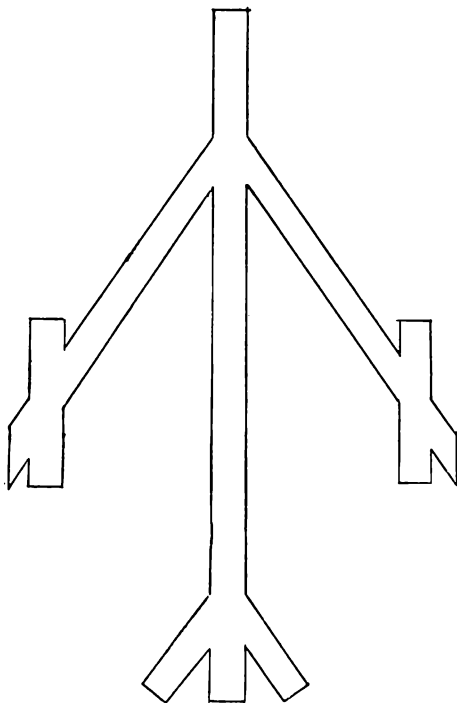
Вы полюбите меня — чистым, грязным.
Вы полюбите меня — хоть заразным.

Вы полюбите меня знаменитым.
Вы полюбите меня в кровь избитым.

Вы полюбите меня старым, стертым,
Вы полюбите меня — даже мертвым.

Вы полюбите меня. Руки стиснем.
Невозможно на земле разойтись нам.

Вы полюбите меня?! Где ваш разум?
Вы разлюбите меня. Но не сразу.



Из зарубежной  *тетради*

с тоской опускается,
а не сплеча,
и львица к стеклу прижимается плачуще
и даже —
как мне показалось —
шепча.

Конечно, не было плача и шепота —
лишь этот женский затравленный лик,
лишь страшная горечь звериного опыта
и крик,
превращенный природой —
в рык.

Стольким хотелось бы мне поделиться
в миг сокровенный единственный наш
только с тобою,
сестренка-львица,
ибо ты женщина
и не предашь.

2

И у меня подрастающий львенок —
как я за ним услужу?
Что ему вложат в его головушку?
Что в нее
я вложу?
Я здесь далеко от моей России —
Африки снежной моей,
но снова мучает
мысль о сыне,
о будущем всех детей.
Здесь,
и прославленный, и опороченный,
от вспысечных шелканий ошалев,
и я себя чувствую
в славе провололочной,

как в мышеловке —

лев.

А кто-то меня подбивает к тьявканию,
чтоб я доказал на рычанье права,
но это ведь все равно,

что на Африку

тявкать заставить

в Ирландии

льва.

Просят фотографии,

дамочки липнущие,

меня,

словно редкого льва из тайги,

зубы показывать

лишь для улыбочки,

а для рычанья на них —

не моги!

Слава —

для львиных зубов безработица.

Верь, как рычанью, моим словам:

поэт —

охотник, за кем охотятся,

а это понятно и вам —

львам.

3

Сестренка-львица,

я был в Лондондерри,

где львам прострелили бы даже хвосты,

где руки в ночи

на руле леденели

от неизвестности

и пустоты.

И фары

лицо мальчишечье вырвали

в крестьянских веснушках
и брызгах дождя,
когда в маскировочной куртке
вынырнул
солдат,
автомат на нас наведя.
«Гасите фары! —
он выкрикнул. —
Быстро!»

Схватил документы.
Испуг его тряс.
«Простите.
Я думал, что вы — террористы.
Они ослепляют
фарами нас.
Так вы из России?» —
«Ага, из России». —
«Зачем?» —
«А стихи почитать пригласили». —
«Стихи?

В Лондондерри?
Да что вы — с приветом?
Здесь место могильщикам,
а не поэтам». —
«А где здесь отели?» —
«Какие отели!
Давно все отели
на воздух взлетели». —
«А где ресторан?» —
«Они взорваны тоже.
Есть, правда, китайский,
но пища — о боже!
Какие-то жабы, глисты или змеи.
Умеете палочками?» —
«Умею».

И вслед я услышал — он горестно шепчет:
«Нет, русские — это народ сумасшедший».

4

И в ресторанчике
«Китайский сад»
приткнулись где-то сбоку мы,
как будто страннички,
себе устроившие пир
среди чумы.

И не терзали нас
ни осьминог, ни скорпион и ни трепанг —
лишь то, что занавес
в окне, разбитом взрывом,
ветер так трепал.

За шатким столиком,
вокруг которого незримо шла война,
я то католиком,
то протестантом
себя чувствовал спьяна.

Судьба прославленная
здесь оказалась как-то вовсе не в цене.
«Из православных я!» —
впервые в жизни закричать хотелось мне.
Но мы не высидели,
и мы нетвердо,

ну а все-таки пошли
туда, где выстрелы
или казались,
или слышались вдали.

О лондондерринские
ночные улицы,
как будто склады тьмы,

где в каждом деревце
есть человеческий испуг перед людьми,
где замурованы
проемы окон кирпичом

от пұль в ночи

и уворованы
с руин домов других

все эти кирпичи.

Все было взорвано:
и магистрат, и суд, и честь, и флаг, и крест,
и ложь позорная,
что существуют, мол, свобода и прогресс.
Мы шли обломками.
В ночной пустыне даже выглядел свежо
старик с болонкою,
поднявшей ножку над останками «пежо».
И бомбы, тикая,
взорваться были где-то рядышком не прочь.
Стояла тихая
варфоломеевская ночь.

б

И подошел старик с болонкой к нам,
ступая как по дантовскому аду,
и рассказал ирландскую балладу,
и вам ее перескажу я сам.
«Принадлежавший протестанту дог
лишь смутно ощущал,
что значит бог,
и католичкой не была, бедняжка,
католика плешивая дворняжка.
Своей породой не гордился дог,
дворняжка не стеснялась беспородья,
и оба,
обрывая поводок,

Так вот что такое цивилизация,
когда, не выглядывая по месяцам,
готовы ирландские дети спастись,
прижавшись

к твоим истощенным сосцам.

Проклятое атомное средневековье,
где людям труднее, чем львам, прожить,
где чертят кресты не мелом,

а кровью:

«Не так он верует —

надо пришить».

Я не протестант и я не католик,
но страшно мне будущей пустоты,
когда все двери взорвут,

на которых

уже не удастся ставить кресты.

А что равнодушие?

Пьет и жует оно...

Неужто дойдет до этого век,
что вдруг окажется редким животным
себя истребивший сам человек?

И шепчет старик —

лондондерринский леший

с болонкой,

пока еще уцелевшей:

«Куда мы идем

и во что мы верим

среди бессмысленных стольких потерь?

Когда человек

становится

зверем,

то человеком

кажется зверь».

И, только сжимая челюсти вежливо,

грохочет эхо за Урал:
няма!

няма!

няма!

Прости меня, Володя,
за тупой

страх умереть,
чтоб вечно быть с тобой.

И ты прости, любимая, за то,
что опустил тебя одну в ничто.

Я выбрал трусость.

Я живой.

В порядке.

Ходячая реклама физзарядки.
Я для здоровья бегаю чуть свет
сквозь влажный шорох утренних газет,
прилежно маскируя свои беды
в студенческую майку,

шорты,

кеды.

И на фигуру странную мою,
присевшие для чтенья на скамью,
на миг забыв «Работническо дело»,
пенсионеры смотрят обалдело.
...Однажды утром по Софии я
бежал от всех своих проклятых мыслей
по улице твоей,

отец Паисий,

под тяжкий шелест мокрого белья,
под шелест роз,

алевших не бумажно,

ловя в зеленых крошечных дворах
большие капли,

падавшие важно

с развешанных пеленок и рубах.

Мой странный бег был так похож на транс.

Я замер,
 прозой надписи ударен
над магазином бодрым:
 «Санитарен
фаянс».

А рядом,
 там, где плющ зеленый вьется,
на двери,
 еще мокрой от побелки,
прочел я:
 «Ателье за производство...»
и дальше:

 «...на металлические табелки».
И сразу —
 в ожидании обиды
я съежился,
 боюсь витрин,

 газет,
как будто бы на лбу была прибита
металлическая табельчатая:

 «Поэт».
А на доске мемориальной
 справа
светило мне над спинами машин:
«Коммунистете нямат права
да са невежи».

 Валентин.
Как тяжело то, что и герой —
 не вечен,
что о герое

 тоже плачет мать.
Я, Валентин,
 быть не хочу невеждой,
но это страшно —

 слишком много знать.
Висела на заборе скорбна весть.

Любое слово в ней кричало жгуче,
меня пронзив навеки:

«Как се случе...» —

и дальше трудно было мне прочесть.
Володя,

Красимира,

что мы значим?

Зачем идем

или бежим вперед?

Рождается любой ребенок с плачем —
он знает, что когда-нибудь умрет.

Все кончится проклятым —

няма,

няма...

И скорбна весть гласила,

так проста,

оплакивая всех:

«Остана само

бескрайна пустота и самота...»

Любенка.

Прощай, Сирано!

В павильоне все лампы погашены,
и только ботфорты твои,
как насмешка, остались в багажнике.

Прощай, Сирано,

мой далекий двойник, мой собрат.
Бургундского нет в магазинах.

Эрзаца глоток на прощанье!
Тебя мне в кино запретили сыграть,
а в жизни меня

мне играть запрещают.

Не стоит просить ни о чем кардинальскую ложу.
Сдирают мой грим.

А хотели, наверно бы, — кожу.

И лошадь уводят,

и шляпа, плюмажем дерзя,
как черный цветок,
на погибший сценарий возложена,
и тысячи маленьких скользких «нельзя»
сливаются в «жить невозможно».

Какой-то угрюмый подонок

с лицом питекантропа,

как евнух, глядящий испито и каменно,
картину прикрыл,

распустил киногруппу.

Живейшая бдительность свойственна трупу.

Они бы хотели,

бессильно лютуя,

* Юджин Шамп — молодой американский актер, активно протестовавший против грязной войны во Вьетнаме. В связи с этим он был снят хозяевами с главной роли в готовившемся к постановке фильме по пьесе Ростана «Сирано де Бержерак».

прикрыть все искусство
и литературу,
но цену бездарностям им не завясыть,
и главные роли
от них не завясыт.

Глядите —

трагически и озорно
играю я все-таки роль Сирано!
Самую природой изобретен
я был, как гуляка, певец и бретер —
меня вам не снять с этой роли.
А сердце большое в наш век так смешно
чрезмерностью,

будто бы нос Сирано,
и в роль я вхожу поневоле.

Посылка!

Рипост не бросает вас в дрожь?
Пусть будет вам это уроком.
Вам кажется тот, кто на вас непохож,
уродом?

Посылка!

Но шпага увязла опять
в субстанции слишком пахучей.
Не очень приятно всю жизнь фехтовать
с навозною кучей.

Сыграть Сирано

я мечтал еще в детстве,
да все не хватало мне лет,
и вот на меня, как положено в действии,
наемные руки наводят мушкет.
И только когда я дышать перестану
и станет мне все навсегда все равно,
страна, ты поймешь, что тебя, как Роксану,
любил я,

непонятый, как Сирано...

Побойтесь памятников

Какую
Франко
 скорчил бы гримасу
в Черемушках,
 на улице Гримау!
Ну а фашистской суке —
 Муссолини
мы
 городом Тольятти
 насолили.

Подонкам
 с подбородками отвислыми
«Побойтесь бога!»
 говорить бессмысленно.
Но вдалбливаю в уши всех иудушек:
«Побойтесь городов
 и улиц будущих!
Вы о себе хоть малость позаботьтесь,
и памятников будущих побойтесь!»

Пятнадцать мальчиков

Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше...

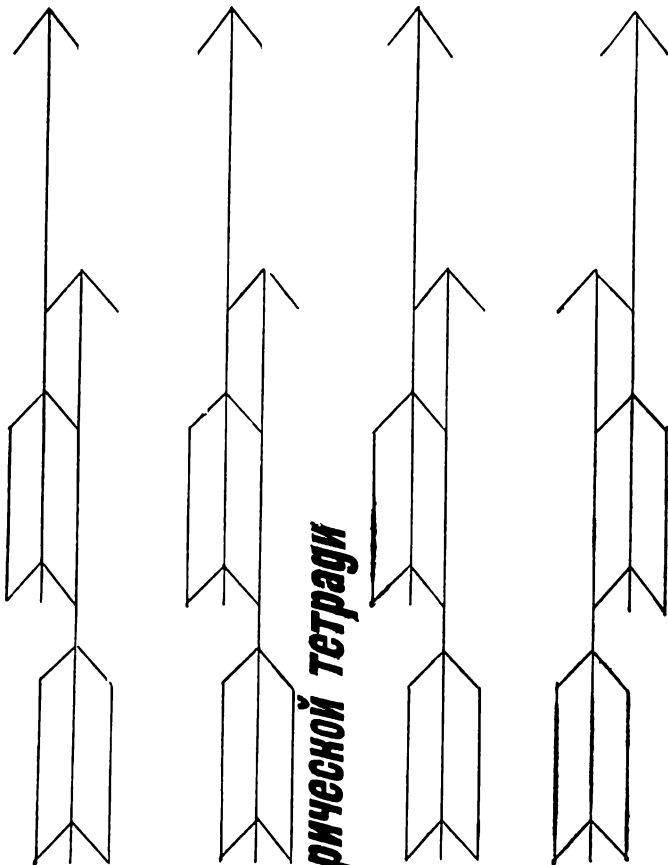
В. Ахмадулина

Пятнадцать мальчиков —
пятнадцать мальчиков —
сидели
на циновочках
ссутуленно
в пещере сталактитовой под Токио.
Срывались наземь капли, четко тикая.
Цитировали мальчики Маркузе,
и вся система капиталистическая
была не в их мятежном, строгом вкусе.
Они —
уроды общества уродского —
хотели быть предтеч своих не ниже.
В любом —
помимо маленького Троцкого —
сидел
пусть самый крохотный,
но Ницше.
О методах отчаянно заспорили,
и в ком-то что-то вспыхнуло начальниче,
и сразу встала за спиной истории
тьнь азиатской роковой нечаевщины.
И спор о методах
стал методом убийства.
Когда один сказал,
что не согласен,
его четырнадцать других
связали быстро

Капитализм,
который это видел,
скрывая радость с мудрою тактичностью,
глаз уголки

платочком даже вытер.
Есть в этом ужас факта достоверного.
Тот обречен, кто в заговоры влюбится,
и сделал бы я «Бесов» Достоевского
настойной книгой каждой революции.
Как сделать, чтоб, забыв отмщать расправую,
друг друга не душили бы по-волчьи
и этим не душили

дело правое
пятнадцать мальчиков,
а может быть, и больше?



Из сатирической тетради

Были раньше ежи, а теперь коlobки,
и от волка ушли, и ушли от лисы,
и гордятся, что все-таки не подлецы.
Но, как будто липучий могучий магнит,
все их бывшие иглы повытянул быт.
Так ли страшен злодей, если ясен злодей?
Страшно милых, неясных и этим опасных людей.
Ухожу.
Мне вослед: «Нашумел...
Надымил...
Но не правда ли, в общем-то, все-таки мил?..»
И, как будто бы знамя, полночную мглу
одинокую накальваю
на иглу.

Дежурные на этажах

В гостинице провинциальной,
где к ванной был привинчен салыный,
чтоб не сбежала, номерок,
по стенам ползали в излишке
клопы и шишкинские мишки —
у нас никто не одинок.

Но был подход принципиальный
в гостинице провинциальной
ко всем гостям — в их мятежах,
пусть даже скромных, против правил.
А соблюдение кто возглавил?
Дежурные на этажах.

Они с могучими задами
и с видом важного заданья
в любой, входящей в двери даме
угрюмо видели врага,
тая зловещее: «Ага...»

...Снесли гостиницу с клопами,
и мишки Шишкина — в опале.
Они, бедняги, не попали
в отель из стали и стекла.
Там пылесосы из Чикаго.
Там — и грузинская чеканка,
и блещут баров зеркала.

Но в сапогах — уже чулочных,
при тех же бюстах крупноблочных,
при тех же взглядах непорочных,
задами всех гостей прижав,
как управляющие честью,

взирают, хищно когти чистя,
дежурные на этажах.

Теперь уже в их гардеробах
есть все почти, что есть в Европах.
Эдгара По, Эжена Сю
не надо им — лишь «Кента» пачку.
Жуя подаренную жвачку,
расхаживают чуть враскачку
и даже «спикают» вовсю.
Они все знают про ньюйорки,
не забывая про пятерки.
Есть широта души в ханжах!
Все изменяется на свете —
не изменяются лишь эти
дежурные на этажах.
Скажите, все, кто небезгрешен,
но кто нисколько не замешан
ни в грабежах, ни в кутежах,
все те, кто хоть во что-то верит:
что в нас вселяет трепет перед
дежурными на этажах?!

Богатырь

Если б собрать все то, что
выпил и слопал он,
цирк будет мал — это точно.
Требуется стадион!
Одну бы трибуну Северную
заняли, как молодцы,
им на закуску съеденные
соленые огурцы.
Одну бы трибуну Западную
пришлось бы тогда отвести
под сизые, уксусом залитые
селечочные хвосты.
Одну бы трибуну Южную,
пройдя сквозь его кишки,
заполнили, луком навьюченные,
воскресшие шашлыки.
Одну бы трибуну Восточную
набили наверняка
совместно с подливкой чесночную
румяненькие «табака».
Какое пищеварение!
Геракл! Гулливер! Лукулл!
Все то, чем пичкало время,
переварил — не икнул.
А если б на поле футбольное
в майках наклеек цветных
поставить бутылки, довольные
тем, что он выпил их,
то гордо, под звуки оркестра,
попахивая, как скипидар,
встанут «Московская», «Экстра»,
«Вермут» и «Солнцедар».
Пройдут спортивной походочкой,
знамена неся над собой,

С натуры

Наполеон сказал: «Сарделек пару...»
Советский рубль он вынул из лосин,
потом присел к электросамовару,
Распутина в соседи пригласил.

Еще одна прелестная подробность:
вбежал Малюта, бросил: «Сигарет...»
Печальная, забавная загробность.
Почти тот свет.

Мосфильмовский буфет.

Каннибал на курорте

Всю ночь сырое мясо снилось мужу,
когда его в тяжелый сон свалило,
как будто прямо в кровяную лужу,
где плавали баранина,

свинина.

Потом сидел он хмуро на веранде
и поглощал курортный скудный завтрак —
пигмей в почти гигантском варианте,
бессмысленно и тупо динозаврист.
Ему хотелось шашлыка по-карски,
официанта в трепетном поклоне,
немножко ласки

и немножко сказки,

где он —

Иван-дурак на царском троне.

Ему хотелось быть большим начальством,
за убежденья

выдать закоснелость.

Хотелось обладать таким нахальством,
чтобы нахальство приняли за смелость.
Хотелось впечатлений заграничных,
пощупать лично небоскрегов стены,
под соусами зрелищ неприличных
проглатывать нотрдамы и бигбены.

Хотелось лавров, и хотелось денег.

Надменно отдыхающий на юге,

шел каннибал под ручечку

с виденьем

уже давно им съеденной супруги.

В Пекине жгли мое чучело,
подвешенное шпаньем.
Пламенем надпись «рючило»:
«Американский шпион».

В Америке жгли мое чучело —
какой двусторонний шаблон!
Надпись не очень-то мучила:
«Красный советский шпион».

Не удивляясь домыслам
низкого на земле,
я поражаюсь доблестям
близкого мне Е. Е.

В прачечных или в булочных,
впрочем, во все века
поэты — шпионы будущего.
Это оно — их ЧК.

Очень высокого качества
нам сообщил, например,
сведения стукаческие
об Одиссее Гомер.

Ну а Шекспир всем нациям
верно служил, как пес.
В веке своем, в семнадцатом,
он на двадцатый донес.

Приобретаю навыки.
Расту как шпион.
Авось мы потомкам на ухо
чего-нибудь да шепнем...

и ничего не пишет —
еле дышит.
Врач лечащий сказала виновато:
«Сердчишечко у вас великовато,
и пульс —
простите —
проявляет прыткость,
и в печени —
вы много пьете? —
жидкость...»

Пошла борьба
с рассвета до рассвета
за уменьшение сердца у поэта,
и вот срывает лютики,
репейник
спасенный Автор,
сев на муравейник,
и думает,
с тоской вздыхая дохло:
«Как бы совсем сердчишко не усохло...»
Но Автор он —
стихов по доброй воле,
стихов о целнине
и о футболе,
стихов о Переделкино,
Фиделе,
о пирамидах,
о райжилотделе,
о станции Зима
и о корриде,
о Нюшке,
Муське,
Белле,
Гале,
Рите.
Какие необъятные желанья!

В них включены Розиты,
Дженни, Ланни.

Какая к братству будущему тяга!
В его дружках — аляскинский бродяга,
чилийцы, австралийцы,
финны, турки

и все марьинорощинские урки,
а если верить — так и Маяковский,
а вдумаясь — даже волк тамбовский.

Гуляет Автор столько приключений,
в поэзии им созданных течений
и песни,

• чьи слова везде слышны:
«Котятки грустные больны».
И наконец, с какой-то странной болью
выписывают Автора на волю.
Уходит он

Шаляпиным со сцены.
Врачи им сыты,
и медсестры целы.
Глядят из окон,
подбирая грыжи,
как он идет

в ньюйорки и парижи,
как оглянулся грустно на аллее,
за свой народ оставленный болея,
но слышен бодрый голос руководства:
«Ну ничего —
он к нам еще вернется...»

Самонадгробная речь

В покойнике не было ясных намерений —
он был неумеренный
и неуверенный,
а все-таки не был
трусливым,
покореньким,
а все-таки не был
при жизни покойником.
В покойнике вас раздражало актерское,
а все-таки было в нем
и мушкетерское.
А все-таки он,
вас игрой ошарашивая,
в плохом
был получше хорошего вашего.
А все-таки что-то куда-то вело его —
нечеловеческое,
воловье.
А все-таки сделал немало он доброго,
хотя его в разные стороны дергало.
А все-таки, и отрекаясь,
он весело
подмигивал вам:
«Она все-таки вертится...»
Покойник был бабником,
пьюхой,
повесою,
покойник политику путал с поэзией.
Но вы не подумайте скоропалительно,
что был он совсем недоумок в политике,
и даже по части поэзии, собственно,
покойник имел кой-какие способности.

В человека вгрызлась боль,
раздирает коготками.
Отложилась, будто соль
где-то между позвонками.

Что-то выкрикнуть в толпу?
Чести быдлу будет много.
Исповедаться попу?
Человек не верит в бога.

Исповедаться жене?
Боль ей будет непонятна.
Исповедаться стране?
До испуга необъятна.

И приходит психиатр
с мушкетерскою бородкой,
теповато-суховат,
чуть попахивая водкой.

И хоть рвите волоса, —
ваши горе и досаду
будет слушать два часа,
и всего-то за десятку.

После он идет пешком
по проулкам грязноватым,
и лежит под языком
у него транквилизатор.

Есть внимательность как трюк:
никакой в ней нет заслуги,
и тоскует сам о друге
психиатр — наемный друг.

«Мне, в общем, все до Фени...» —
ходячие слова,
усмешка сытой лени
с оттенком хвастовства.

Ты кто такая, Феня?
В каких живешь местах?
Ты ведьма или фея?
Буфетчица в летах.

Ты толстая бабища
с усами над губой,
как будто бы гробище,
громоздкая собой.

На недолитой пене,
на всем, что жрут и пьют,
составила ты, Феня,
сама себе уют.

Ты в кооперативке
приятственно блудишь
и с мордою кретинки
на Штирлица глядишь.

Ты пахнешь пирогами
в нагретом неглиже.
Приклеишься губами —
не вырваться уже...

Тайна трубадура

Помимо той прекрасной дамы,
играющей надменно гаммы
на клавесинах во дворце,
есть у любого трубадура
от всех скрываемая дура,
но с обожаньем на лице.

Стыдится он ее немножко,
но у нее такая ножка,
что заменяет знатность, ум.
Порою дура некрасива,
но трогательно неспесива,
когда приходишь наобум.

Она юбочночку снимает.
Боль трубадура понимает,
ему восторженно внимает,
все делает, что он велит,
порою чуточку краснея...
И трубадур утешен. С нею
он — просто он, и тем велик.

Монолог проигравшегося

«Прощаясь пасмурной порой
с проигранной игрой.

Что за игра,

что за мура —

сказать, пожалуй, не пора,
а может, просто страшно,
но выяснять не стражду.

Мой скромный проигрыш таков:

десятки тонн стихов,

весь шар земной,

моя страна,

мои друзья,

моя жена,

я сам —

но этим, впрочем,

расстроен я не очень.

Такие мелочи,

как честь,

я позабыл учесть.

Не проиграл?

Как знать — пока

не подтвердил щелчок курка,

да вот курок заело —

такое, в общем, дело.

Я вел, наверно, не к добру

полурисковую игру.

За это милосердьё —

наказан полусмертью».

Прославленному человеку
звонят, как будто бы в аптеку,
как в магазин, где кассы нет,
или как будто бы в сберкассу
(ведь он, конечно, денег массу
имеет — это не секрет).
Он достает, скрывая кашель,
кому-то шифер или кафель,
путевку, авиабилет,
паркет, Булгакова, дубленку,
«Шанель», цветную фотопленку,
сертификаты и болонку,
икорку, «Хванчкару», иконку, —
ну разве что не самогонку! —
гипертонический браслет,
рыбца, училку-англичанку,
лекарства, пропуск на Таганку,
на фигкатанье, на балет,
колготки, кофе растворимый,
особый польский грим незримый,
слезоточивый пистолет,
и танковый аккумулятор,
и блат стыдливый в альму-матер
для дурня в двадцать с лишним лет,
и в Переделкино прописку,
и на «Америку» подписку,
и бритву — именно «Жиллет»,
и облепиховое масло —
и что-то в нем уже погасло,
и в голове уже привет.
Он взглядом как-то странно косит
и ждет, что кто-нибудь попросит
сверхбаллистических ракет.

Но вдруг — откуда-то приносит
товарищ с омулем пакет,
и свой коньяк сам преподносит,
и, улыбаясь, произносит,
чуть подмигнув:

«Ты жив, поэт?»

Волчий суд

Однажды три волка
по правилам волчьего толка
на общем собрание
судили четвертого волка
за то, что задрал он, мальчишка,
без их позволенья
и к ним приволок, увязая в сугробах,
оленя.
Олень был бы сладок,
но их самолюбье задело,
что кто-то из стаи
один совершил это дело.
Для стаи, где зависть,
как будто бы шерсть на загривках
густая,
всегда оскорбленье
победа без помощи стаи.
У главного волка:
матерого хама, пахана
угрюмая злоба
морщинами лоб пропахала.
Забыв, что олень
был для стаи неожиданный подарок,
он вдруг возмутился,
ханжа, климактерик, подагрик.
Талантливый хищник,
удачи чужой он не вынес.
Взрычал прокурорски,
играя в святую невинность.
Волчишка второй —
трусоватый холодненький Яго
старался всегда показать,
что он волк-дворянин — не дворяга.

С надменным лицом
шелудивого аристократа
он скорбно взирал
на заблудшего младшего брата.
Но по носу было,
такому нюхучему,
ясно,
что как ни брезглив он,
а хочется, хочется мяса.
А третий волчишка потупился,
ежился зябко:
не волк, а теленок,
безвольный антабусник, тряпка.
Боялся он первого волка,
второго он тоже боялся.
Четвертого волка обидеть боялся,
и мялся, и мялся.
И мир сохранить бы хотелось,
и косточку тоже,
и дорог товарищ,
а все-таки стая дороже.
Пахан прорычал:
«Этот волк — не из волчьего теста.
Он делал карьеру.
Предателям в стае не место».
Его паханята боялись дойти до рычанья,
и грустно кивнули они в благородном молчанье.
А волк-подсудимый,
не веря себе,
растерялся.
Хотел он завывать: «Дураки!
Я для вас же старался!»
Забыл он, что в стае
над чувствами только смеются.
Подарки волкам
неотмщенными не остаются.

С волками ты жил,
 выл по-волчьи,
 теперь не взыщи ты!

На волчьем суде
 никогда не бывает защиты.

Побрел он по снегу
 огням отдаленным навстречу,
совсем одинок
 и по-волчьи и по-человечьи.

Где был тот олень,
 там земля чуть дымилась, пустая:
добычу стянула уже
 конкурирующая стая.

И волк усмехнулся над судьями:
 «Так им и надо.

Что стая волков?
 Лишь презренное темное стадо.

Как все это тупо,
 как все это мерзко и глупо:
паханство и рабство,
 и все эти группочки, группы.

Они похваляются тем,
 что свобода их — льгота,
но в стае любой —
 есть всегда полицейское что-то...»

Волк шел на огни,
 где дымы над домами кружили:
«Свои — загрызут.
 Пусть уж лучше пристрелят чужие».

* * *

Довольно про волков, песцов и лебедят.
Вот лист.

Пускай читатели глядят:
лист окровавлен, как на фронте снег.
На нем лежит и стонет человек.

Пошлость и смерть

Рядом с человеческой бедой,
глядя вновь на свежую могилу,
как сдержать отчаянной уздой
пошлость — эту жирную кобылу?

О, как демагогия страшна
в речи на гражданской панихиде.
Хочется не спяну, а стрезва
закричать кому-то: «Помогите!»

Вот, очки пристроив не спеша
на лице, похожем на мошонку,
произносит: «Как болит душа!» —
кто-то, глядя важно в бумажонку.

А другой орет на весь погост,
ищет рюмку дланью — не находит.
Речь его надгробная на тост
слишком подозрительно походит.

Я не говорю — они ханжи.
Мертвого, наверное, им жалко,
но тупое пьянство — пьянство лжи,
словно рюмку, требует шпаргалку.

Мертвый мертв. Речей не слышит он.
Но живые слышат — им тошнее.
Бюрократнада похорон —
есть ли что, действительно, страшнее...

* * *

Интеллигенция поет блатные песни.
Поет она не песни Красной Пресни.
Дает под водку

и сухие вина
про ту же Мурку, Енту и равнина.
Поют

под шашлыки и под сосиски,
поют врачи,

артисты и артистки.
Поют в Пахре писатели на даче,
поют геологи

и атомщики даже.
Поют,
как будто общий уговор у них
или как будто все из уголовников.
С тех пор

когда я был еще молоденький,
я не любил всегда

фольклор воря,
и революционная мелодия —
мелодия

ведущая
моя.

И я хочу без всякого расчета,
чтобы всегда адело высоко
от революционной песни что-то
в стихе

простом и крепком, как древко...

СОДЕРЖАНИЕ

Утренний народ	5
--------------------------	---

Из камазовской тетради

Поэта вне народа нет	8
С крыши КамАЗа	24

Завтрашний ветер

Любите Родину	34
Святыни	36
«Срывай цветы, но по-хорошему...»	38
«Я был тылом — сопливым, промерзлым...»	39
Нехватки	41
Москва — Иваново	43
«Когда-то мы спали валетом...»	46
Над могилой Рубцова	47
«В строке, отливающей сталью...»	49
«Нет, грамотность не в чтении газет...»	51
«Идеи правые, родные...»	52
Усмешка	53
«Достоинно, главное, достойно...»	54
Ошибка Гоголя	55
В Михайловском	58
Учители России	59
Нравственность	61
Завтрашний ветер	62

Северная надбавка

Северная надбавка (Поэма)	66
-------------------------------------	----

Из сибирской тетради

Байкал	100
Хозяйка озера	103
Никто и ничто	104
Вилюйское море	106

Зверь выходит на обдув	107
Сквозь восемь тысяч километров	109
«В лодке, под дождем колымским льющим...»	111.
Вторая добыча	113
Колумбиха	115

Из лирического дневника

Прошлое	120
Подворотни	123
Лейб-кампанцы	124
Творчество	125
Забудьте меня	128
Под поездом	129
Долголетие	130
«Зашумит ли клеверное поле...»	132
Компот	134
Агент по страхованию	136
Высокопарность	138
«Проклятие — я профессионал...»	140
Не исчезай	141
Разве это проходит?	142
Ты победила	144
«Спасение наше — друг в друге...»	145
На распутье	147
«Форма — это тоже содержание...»	148
«Мне чужды экстремисты... Мне приелись...»	149
«Каплет ли над лирой...»	149
Муравьи	150
На грейдерной дороге	152
«Вы полюбите меня. Но не сразу...»	154

Из зарубежной тетради

Сафари в Ольстере	156
Софийская элегия	166
Монолог Юджина Шампа	170
Будапештский трамвай	172
Побойтесь памятников	173
Пятнадцать мальчиков	174

Из сатирической тетради

Милые люди	178
В одной «компашке»	180
Дежурные на этажах	181
Богатырь	183
Запоздалое признание	185
С природы	186
Каннибал на курорте	187
Поэзия как шпионаж	188
Больничное шутивное	189
Самонадгробная речь	192
Психотерапия	193
Феня	194
Тайна трубадура	195
О скромности	196
Монолог проигравшегося	197
Жизнь поэта	198
Волчий суд	200
«Довольно про волков, песцов и лебедят...»	202
Пошлость и смерть	203
«Интеллигенция поет блатные песни...»	204

Евтушенко Е. А.
Е27 Утренний народ: Новая книга стихов. — М.:
Молодая гвардия, 1978.—207 с.

В пер. 1 р. 20 к. 130 000 экз.

В новую книгу стихотворений Евгения Евтушенко вошли уже публиковавшиеся в центральной прессе произведения «Поэта вне народа нет», «С крыши КамАЗа» (о строительстве КамАЗа), поэма «Северная надбавка», «Сафари в Ольстере» и другие. Книга включает стихотворения гражданского характера, на международные темы, лирику и сатиру.

Б 70402—310
078(02)—78—172—78

Р2

ИБ № 146

Евгений Александрович Евтушенко

УТРЕННИЙ НАРОД

Редактор **Т. Чалова**

Художник **В. Валериус**

Художественный редактор **А. Романова**

Технический редактор **В. Пилнова**

Корректоры: **З. Харитоновна, А. Долидзе**

Сдано в набор 15.03.78. Подписано в печать 13.12.78. А06090.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 9.1. Учетно-
изд. л. 8.3. Тираж 130 000 экз. (65 001—130 000 экз.). Цена
Гр. 20 коп. Т. П. 1978 г., № 172. Заказ 370.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типогра-
фии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.

20
Ip. 20k.

СИБИРСКИЙ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

